

Александр Тринь

Алые паруса

Хроники Тринландии

Бегущая по волнам

Золотая цепь

КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Коллекционное иллюстрированное издание

Александр Грин

**Алые Паруса. Бегущая
по волнам. Золотая цепь.
Хроники Гринландии**

«Public Domain»

1923, 1925

УДК 82-31
ББК 83.3

Грин А. С.

Алые Паруса. Бегущая по волнам. Золотая цепь. Хроники
Гринландии / А. С. Грин — «Public Domain», 1923,
1925 — (Коллекционное иллюстрированное издание)

ISBN 978-5-907332-23-2

Гринландия – страна, созданная фантазий замечательного русского писателя Александра Грина. Впервые в одной книге собраны наиболее известные произведения о жителях этой загадочной сказочной страны. Гринландия – полуостров, почти все города которого являются морскими портами. Там можно увидеть автомобиль и кинематограф, встретить девушку Ассоль и, конечно, пуститься в плавание на парусном корабле. Гринландией называют синтетический мир прошлого... Мир, или миф будущего... Писатель Юрий Олеся с некоторой долей зависти говорил о Грине: «Он придумывает концепции, которые могли бы быть придуманы народом. Это человек, придумывающий самое удивительное, нежное и простое, что есть в литературе, – сказки».

УДК 82-31
ББК 83.3

ISBN 978-5-907332-23-2

© Грин А. С., 1923, 1925
© Public Domain, 1923, 1925

Содержание

Певец Гринландии	7
Легендарные парусники	16
«Летучий голландец»	16
«Герцогиня Цецилия»	18
«Санта Мария»	20
«Виктория»	22
«Мэри Роуз»	24
«Золотая лань»	26
«Дёйфкен»	28
«Мейфлауэр II»	30
«Ваза»	32
«Месть королевы Анны»	33
«Индевор»	35
«Баунти»	37
«Конституция»	39
«Седов»	41
«Надежда» и «Нева»	42
«Восток» и «Мирный»	45
«Меркурий»	48
«Паллада»	49
«Грейт Рипаблик»	51
«Черный принц»	53
«Грейт Истерн»	54
«Катти Сарк»	55
«Томас У. Лоусон»	57
«Кон-Тики»	58
Хроники Гринландии	61
Остров Рено	61
I. Одного нет	61
II. Что говорит лес	63
III. Блемер находит Тарта	67
IV. «Гарнаш, улица Петуха»	70
Пролив Бурь	74
I	74
II	75
III	80
IV	82
V	84
VI	85
VII	88
VIII	90
IX	92
Дьявол Оранжевых Вод	96
Предварительный разговор	96
I. Встреча с дьяволом	97
II. Твердая под ногами земля	99

III. Первое искушение дьявола	100
Второе искушение дьявола	101
1	101
2	103
Третье искушение и пуля-милостыня	105
1	105
2	106
3	107
Зурбаганский стрелок	109
I. Биография	109
II. Зурбаган	111
III. Для никого и ничего	113
IV. Астарот	117
V. Горный проход Вига	118
VI. Фильбанк	122
VII. Возвращение	126
Капитан Дюк	128
I	128
II	129
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Александр Грин
Алые паруса. Бегущая по волнам.
Золотая цепь. Хроники Гринландии

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

© Вострышев М.И., состав, предисловие, комментарии, 2020
© ООО «Детский книжный», 2020
© ООО «Издательство Родина», 2020

Певец Гринландии

В Вятской губернии, в уездном городке Слободской 11 (23 по новому стилю) августа 1880 года родился Александр Степанович Гриневский, известный в русской литературе под именем Александра Грина (псевдоним он взял от сокращения своей фамилии, так как во время первых публикаций жил по фальшивому паспорту и не мог пользоваться своей настоящей фамилией).

В младенчестве Саша был перевезен в Вятку, где и жил безвыездно до шестнадцати лет. Он рассказывал, что запомнил зимнюю дорогу из Слободского в Вятку, когда покоился на руках матери, внимательно разглядывал звездное небо, и ему казалось, что не он едет, а широкая звездная дорога плывет над ним; она и родила в нем сказку, задумчивость, любовь к прекрасному.

Согласно преданию, по материнской линии он – потомок взятого в плен во время похода императора Петра I шведа Лепке. Отец же его, согласно документам, – дворянин, сын польского помещика Виленской губернии, Стефан Евзибиевич (Степан Евсеевич) Гриневский, еще гимназистом за участие в польском восстании 1863 года был выслан из Витебска в Томскую губернию. Отсюда он перебрался в город Вятку, где проработал 35 лет счетоводом в земской больнице (скончался в 1914 году). Обвенчался он с Анной Стефановной (Степановной) Лепковой 15 сентября 1872 года, за восемь лет до рождения первенца Саши.

«Детство мое было не очень приятное, – писал Грин в автобиографии. – Маленького меня страшно баловали, а подросшего за живость характера и озорство – преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки. Я научился читать с помощью отца 6-ти лет, и первая прочитанная мною книга была “Путешествие Гулливера в страну лилипутов и великанов” (в детском изложении). Мать тогда же научила писать. Мои игры носили характер сказочный и охотничий. Мои товарищи были мальчики-нелюдими. Я рос без всякого воспитания».

Правда, одна из младших сестер уверяла, что брат врет – его и пальцем никто не трогал в семье. Может быть, она и права, ведь Грин – сказочник, ему удачная выдумка важнее реальности.

В 1889 году Саша поступил в Вятке в подготовительный класс Александровского реального училища. Хотя он оказался способным к учебе мальчиком, журнал инспектора пестрит замечаниями в его адрес: «Вел себя неприлично при выходе из училища», «Принес в класс игрушку», «Смеется и шалит за уроками»...

В 1891 году 11-летний Саша был исключен из respectable Александровского училища за сочинение и чтение товарищам стихов, зло высмеивающих преподавателей. Отец с трудом устроил сына продолжать образование в городское 4-классное училище. Шалить мальчик и здесь не перестал, но учился прилежно.

Грин вспоминал: «Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то, что паркет и картины реального училища. Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарища по несчастью всегда приятно... Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков¹, большая свобода и то, что учителя говорили нам “ты”, а не стеснительное “вы”, начали мне нравиться».

В январе 1895 году мать Саши скончалась от чахотки, и отец вскоре снова женился. Родительских отношений к уже подросшему первенцу Степан Евсеевич не изменил – оставался с ним добр и участлив. Но с мачехой Александр не поладил, и отцу пришлось снять для сына комнату в другой части города.

¹ В городском училище не изучали иностранные языки.

Закончив в 1896 году городское училище, 16-летний Александр Гринеvский завершил свое регулярное образование. Он покинул отчий дом, надеясь поступить в Одесские мореходные классы. Но опоздал, прием документов уже был закончен. От дальнейших попыток учиться где-либо юноша отказался. Деньги, которые дал на дорогу отец, закончились. Он стал бродяжничать, нанялся матросом на пароход «Платон», курсировавший по маршруту между Одессой и Батуми. Но реальная жизнь в море не имела ничего общего с той, о которой он мечтал, в профессии «морского волка» не оказалось ничего романтического – тяжелая однообразная работа по поддержанию судна в чистоте и строгая дисциплина. Александр разочаровался и спустя рукава выполнял свои служебные обязанности, ничему не научился на судне, даже вязать морские узлы.

Весной 1897 года он совершил свое единственное заграничное плавание, добравшись на судне «Цесаревич» до Александрии. В конце этого плавания Александр не выдержал тяжелой морской службы, разругался с капитаном и заканчивал рейс уже не членом команды, а пассажиром. Сойдя на берег, он решил вернуться домой.

Александр вспоминал: «По возвращении из Одессы я прожил дома до июля 1898 года. За это время я всячески пытался найти занятие: служил писцом в одной из местных канцелярий, переписывал роли (для театра), некоторое время посещал железнодорожные курсы, был банщиком на станции Мараши (шестьдесят верст от Вятки), переписывал по заказу отца ведомости годового отчета земства... Но не было в жизни мне ни места, ни занятия».

И тогда начались многолетние скитания Александра по России в поисках заработка и приключений. Некоторое время он трудился в рыболовецкой артели, работал на золотых приисках и лесосплаве на Урале. Пришлось испробовать профессии шпагоглотателя в цирковом балагане, грузчика, землекопа... Но никакая работа не устраивала молодого Гринеvского, ему было скучно в реальной повседневности.

В марте 1902 года Александр Степанович добровольно пошел в армию рядовым в 213-й Оровайский резервный пехотный батальон, расквартированный в Пензе (воинскому призыву он не подлежал как первенец в семье). «Моя служба прошла, – вспоминал он, – под знаком непрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что “дисциплина сделает меня человеком” не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать – очень чистой), или не в очереди дневалить, я поднимал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях».

Солдат из Александра Гринеvского вышел такой же никудышный, как и моряк. Из-за своих пререканий с командирами и недисциплинированности он то и дело попадал в карцер.

Не выдержав жесткой солдатской муштры, унижений и оскорблений, рядовой Гринеvский в ноябре 1902 года совершил побег из батальона при участии эсеров, которые использовали его в армии как своего партийного связного и агитатора. Перейдя на нелегальное положение, Александр, получив партийную кличку Долговязый (хотя он был среднего роста – 177 см), разъезжает по России с пропагандой эсеровских взглядов, посещает Симбирск, Нижний Новгород, Тверь, Тамбов, Екатериновлав, Саратов, Киев.

Эсер Н.Я. Быховский вспоминал: «Долговязый оказался неоценимым подпольным работником. Будучи сам когда-то матросом и совершив однажды дальнейшее плавание, он великолепно умел подходить к матросам. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней ее языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал все это с большим успехом и сразу же приобрел здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой человек, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог».

В конце концов, в Севастополе в ноябре 1903 года за революционные призывы, с которыми выступал перед черноморскими моряками, Александр Гринеvский был отправлен в

тюрьму, где просидел в одиночной камере больше года. Петербургская тюрьма «Кресты» стала для него кошмаром, самым тяжелым испытанием судьбы.

Еще до ареста Долговязый стал бросать любовные взгляды на эсерку Екатерину Бибергаль по прозвищу Киска. Профессиональная террористка с миловидным личиком не смутилась и объявила себя невестой Долговязого. Когда жених оказался в тюрьме, она подкупила тюремщика и подготовила побег, но нерасторопный жених не сумел в нужный момент выйти с тюремного двора.

В марте 1905 года Гриневский был приговорен военно-морским судом к ссылке в Сибирь на десять лет. Но 21 октября 1905 года в России была объявлена амнистия за политические преступления, и он был выпущен на свободу.

Долговязый напомнил Киске о старой помолвке, но она отвергла посягание на свою личную свободу и заявила протест любовным вздохам товарища по партии. Тогда Долговязый не нашел ничего лучшего, как выстрелить в нее. К счастью, пуля, пробившая грудную клетку бывшей невесты, засела неглубоко, и вскоре после операции Киска встала на ноги. С Долговязым за свое ранение она не расправилась, даже не донесла полиции, кто в нее стрелял. У Киски в это время была цель поважнее – подготовка покушения на великого князя Владимира Александровича, за что она и была вскоре отправлена на каторгу.

Проживая по фальшивому паспорту, Александр не утратил связи с эсерами, и в январе 1906 года в Петербурге вновь был арестован и отправлен в ссылку в городок Туринск Тобольской губернии, откуда сразу же сбежал и направился в родной город.

В Вятке Александр раздобыл новый чужой паспорт и вернулся на жительство в Петербург. Вскоре он женился на выпускнице Бестужевских курсов Вере Павловне Абрамовой, навещавшей его по линии Красного Креста, когда он сидел в петербургской тюрьме. С эсеровскими затеями было покончено.

За четыре последующих года жизни в столице Грин успешно занимался литературным творчеством, познакомился с петербургскими литературными кругами, вышел из-под опеки эсеров. Он сближается с писателем А.И. Куприным, с журналистами А.И. Свирским, Е. Венским.

Первые рассказы Грина появляются в 1906 году: «В Италию», «Заслуги рядового Пантелеева», «Слон и Моська».

В 1908 году вышел в свет первый сборник рассказов Александра Грина «Шапка-невидимка» с подзаголовком «Рассказы о революционерах». Писатель изобразил знакомых ему по политической борьбе эсеров как людей психологически надломленных, подверженных современному мировоззрению революционных декадентов и террористов. Сам же автор исповедует в это время жизнелюбие, гуманистическую заповедь «Не убий», воспекает красоту природы.

В 1910 году Грин издал свой второй сборник с немудрящим названием «Рассказы». Здесь прозаик еще робко нащупывает свой особенный художественный почерк, путешествуя по темным закоулкам человеческой души, пытается говорить о важном и главном, отмечая бытовые подробности. Критики назовут его стиль «психологической фантастикой».

Однако 27 июля 1910 года за проживание по чужому паспорту и бегство из ссылки следует новый арест. Два года со своей первой женой Верой Гриневской (во втором замужестве Калицкая), с которой он обвенчался уже будучи арестованным, писатель проводит в ссылке в городе Пинега Архангельской губернии и (последние два месяца ссылки в Архангельске). Грин пишет в Пинеге несколько рассказов и отправляет их в столичные журналы (наиболее интересны из них «Позорный столб», «Жизнь Гнора», «Трагедия плоскогорья Суан»).

В середине мая 1912 года Грин возвратился в Петербург, где проживает уже на законных основаниях, но под негласным наружным наблюдением полиции. Иногда он уезжает на месяц-другой в Москву и в другие города. Из ссылки писатель привез с собой множество новых рассказов. Сотрудничал в дореволюционные годы с десятками периодических изданий раз-

ных политических направлений и даже вовсе не имевших этих направлений, где напечатал несколько сотен своих прозаических и поэтических произведений. Далеко не каждое из них было высокохудожественным, но лучшие отличились глубоким психологизмом и имели большое социальное звучание: «Зурбаганский стрелок», «Возвращенный ад», «Дьявол Оранжевых Вод»... Регулярно появлялись и книги писателя.

В прозе Александра Грина удивительно своеобразно сочетались реальность, подчас трагическая, с фантазией о человеческом счастье, с мужественными и свободными людьми, населяющими призрачные, выдуманные автором приморские города – Зурбаган, Лисс, Гель-Гью... Одно время литературные критики даже подозревали, что Грин не сам пишет, а ворует рассказы у зарубежных писателей. Успокоились лишь, узнав, что Александр Степанович никакими языками, кроме русского, не владеет.

Были у Грина немало и истинных почитателей. Один из самых горячих из них – литературовед, сотрудник журнала «Русское богатство» Аркадий Горнфельд. Он писал: «Нынешнего читателя трудно чем-нибудь удивить; и оттого он, пожалуй, и не удивился, когда, прочитав в журнале такие рассказы г. Грина, как “Остров Рено” или “Колония Ланфиер”, узнал, что это не переводы, а оригинальные произведения русского писателя. Что ж, – если другие стилизуют под Боккаччо или под 18 век, то почему Грина не подделывать под Брет Гарта. Но это поверхностное впечатление; у Грина это не подделка и не внешняя стилизация: это свое. Свое, потому что эти рассказы из жизни странных людей в далеких странах нужны самому автору; в них чувствуется какая-то органическая необходимость – и они тесно связаны с рассказами того же Грина из русской современности: и здесь он – тот же. Чужие люди ему свои, далекие страны ему близки... Грин по преимуществу поэт напряженной жизни. И те, которые живут так себе, изо дня в день, проходят у Грина пестрой вереницей печальных ничтожеств, почти карикатур. Он хочет говорить только о важном, о главном, о роковом: и не в быту, а в душе человеческой. И оттого как ни много крови льется в рассказах Грина, она незаметна, она не герой его произведений, как в бесконечном множестве русских рассказов последних лет; она – только неизбежная, необходимая подробность...»

Нелюдимый Грин крепко сдружился с уже известным писателем Александром Куприным. Отчасти их взаимопониманию служило обоюдное увлечение «зеленым змием». Но, конечно, не только эта слабость способствовала их крепкой дружбе. Приятелями Грина также числились поэт Михаил Кузьмин и прозаик Михаил Арцыбашев.

Большинство литературных критиков с оттенком презрения называли Грина иностранцем в русской литературе, о чем он болезненно переживал: «Мне трудно. Нехотя, против воли признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен... Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе), чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестким более, чем средневековая инквизиция».

Большим радостным событием для Грина стал выход в 1913–1914 годах в издательстве «Прометей» трехтомника его сочинений. Правда, газеты и журналы довольно пренебрежительно отзывались о его «экзотической фантастике». Но писатель уже имел своего собственного читателя, которого не смущали презрительные отзывы любителей «чистого искусства» или «либерального натурализма».

Живший в 1914 году Петрограде одном доме с Грином (на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта) писатель И.С. Соколов-Микитов вспоминал: «Мы встретились в маленькой пивной на Рыбацкой улице Петроградской стороны. Грин был в старой круглой бобровой шапке, в потертом длинном пальто с меховым воротником. Сухощавый, некрасивый, довольно мрачный, он мало располагал к себе при первом знакомстве. У него было продолговатое вытянутое лицо, большой неровный, как будто перешибленный нос, жесткие усы. Сложная сетка морщин наложило на лицо отпечаток усталости, даже изможденности. Морщин было больше

продольных. Ходил он уверенно, но слегка вразвалку. Помню, одной из первых была мысль, что человек этот не умеет улыбаться».

Отвечая на анкету «Что будет через 200 лет?» («Синий журнал», 1914, № 1), Грин представлял мир будущего гораздо менее романтичным того, о котором писал свои книги: «Я думаю, что появится усовершенствованная пишущая машинка. Это неизбежно. Человек же останется этим самым, неизменным. Вперед можно сказать, что он будет делиться на мужчину и женщину, влюбляться, рожать, умирать. Леса исчезнут, реки, изуродованные шлюзами, переменят течение, птицы еще будут жить на свободе, но зверей придется искать в зверинцах. Человечество огрубеет, женщины станут безобразными и крикливыми более, чем теперь. Наступит умная, скучная и сознательно жестокая жизнь, христианство (официально) сменится эгоизмом. Исчезнет скверная и хорошая ложь, потому что можно будет читать мысли других. И много будет разных других гадостей...»

В 1914 году Грин становится сотрудником журнала «Новый сатирикон», Он пишет ради заработка множество сатирических заметок и фельетонов. Аркадий Аверченко, возглавлявший журнал, снисходительно покровительствовал ему и называл его: «господин заядлый пессимист».

Отвечая в начале 1915 года на анкету «Журнала журналов» «Как мы работаем», Грин писал: «Как я работаю? Только со свежей головы, рано утром, после трех стаканов крепкого чая, могу я написать что-нибудь более или менее приличное. При первых признаках усталости или бешенства бросаю перо. Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют... Мне хочется жрать».

Писательница и революционерка Лариса Рейснер, встречавшаяся с Грином в редакции созданного ею в 1915 году журнала «Рудин», вспоминала о нем с оттенком иронии: «Грин, трезвый, в невероятно высоком и чистом воротничке, который, впрочем, скоро снял и спрятал в карман, грел возле печки, полной трескучего пламени, свое веселое и безобразное лицо. Смелый путешественник, описавший жаркое небо и дикие леса юга из своей комнатки в желтых вонючих ротах² и ни разу не видевший в жизни ни одного лица, действительно похожего на то, что ему снилось, — наконец чувствовал великое успокоение. Сумасшедший, он был среди своих. Целая куча, целый сноп безумцев окружал его так, как брызжащие искры окружали черное, покрытое трепещущим синим пламенем, медленно и неудержимо пылающее дерево. Никого не пугала смелая сжатость его слога. Никто не сомневался в роскошных видениях, которые ему доставляли странные музы — голод и алкоголь... Любовь и творчество сделали из агонии Грина дикий и великолепный закат. Косые лучи, падая из-за разорванных обезумевших туч, озаряли трагическим блеском его любимый пейзаж: море, острова и людей лучшей породы».

В охранном отделении Грин числился политически неблагонадежным, и с началом 1-й мировой войны за ним время от времени даже устраивали слежку. Донесения о нем скучны и однообразны: «купил булок», «вышел с покупкой», «посетил дачу», «около дачи сидел и прогуливался»...

За непочтительный отзыв в ресторане об императоре Николае II началось преследование писателя, и он от греха подальше в декабре 1916 года переехал из Петрограда в «тихую заснеженную Финляндию». Хотя, по правде говоря, в это время только ленивый разве не возмущался вслух последним российским императором.

Узнав о Февральской революции 1917 года, Грин пешком по шпалам (поезда тогда перестали ходить) вернулся назад. Революционный переворот Александр Степанович принял с восторгом. Но прошло несколько месяцев, и он заявляет в печати: «В моей голове никак не

² *Роты* — так назывались окрестности Измайловского проспекта с расположенными вокруг него улицами.

укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием». В его статьях и фельетонах звучали контрреволюционные нотки.

Осенью 1918 года гражданской женой Грина становится Мария Долидзе. Но спустя несколько месяцев он с ней расстался. В январе 1919 году писатель, наконец, получил благоустроенную комнату в бывшем доме барона Гинцбурга на Васильевском острове.

Осенью 1919 года сорокалетнего уже известного литератора Александра Грина забирают в Красную Армию. Он служит в караульной команде по охране обоза и амуниции в Витебске и его окрестностях, затем в телефонной команде в городе Остров Псковской губернии. Пробыв в армии около полугода, Александр Степанович чуть было не погиб от крайнего истощения и туберкулеза. Самовольно вернулся в Петроград в марте 1920 года и сразу попал на больничную койку с сыпным тифом. Справившись с болезнью, он получает комнату в Доме искусств на Мойке, где продолжает жить отшельником, несмотря на обилие соседей-литераторов. Один из них, Вениамин Каверин, вспоминал: «В ленинградском литературном кругу был одинокой, оригинальной фигурой. Высокий, худощавый, немного горбившийся, он отличался от других обитателей Дома искусств уже тем, что все они куда-то стремились, к чему-то рвались. Он никуда не рвался».

В революционном красном Петрограде, где жители умирали от голода, холода и эпидемий, а сводки с фронтов были безрадостными, когда рушился привычный миропорядок, вечно мрачный, похожий на похоронного факельщика в своем длинном черном сюртуке Александр Грин пишет феерию «Алые паруса» – о надежде, о радости, которая бродит где-то рядом с человеком. В декабре 1920 года он уже читает почти законченный роман в кружке литераторов. Но вышли в свет «Алые паруса» лишь в январе 1923 года. На публикацию откликнулась «Красная газета»: «Милая сказка, глубокая и лазурная, как море, – специально для отдыха души. Грин любит музыку, маскарад, экзотику, все необычайное и непохожее на действительность, но в свои произведения он обязательно вносит душу, жизнь».

В предисловии к «Алым парусам», вышедшим в 1944 году в серии книг «Библиотека краснофлотца», Константин Паустовский писал: «Сейчас, в дни войны, когда наша победа и будущее зависят от нашего мужества, от преданности Родине, от нашей культурности и силы, книги Грина, помогающие нам воспитывать в себе эти качества, являются по сути своей подлинными оборонными и боевыми книгами».

В 1920 году был написан и один из лучших рассказов Грина об одиночестве в холодной пустыне – «Крысолов».

В декабре 1920 года Грин оформил в загсе развод с первой женой, с которой они разошлись еще семь лет назад и в мае 1921 года женился на 26-летней вдове Нине Николаевне Коротковой (в девичестве Миронова, во втором замужестве Гриневская), которая оставалась его верной спутницей до самой кончины писателя.

Поэт Всеволод Рождественский вспоминал о Грине начала 1920-х годов: «Внешность у него была в то время мало располагающая к себе. Худощавый, подсохший от недоедания, всегда мрачно молчаливый, он казался человеком совсем иного мира. Многие, знавшие его только внешне, отказывали ему даже в интеллигентности, говорили, что он похож на маркера из трактира, на подрядчика дровяного склада и т. д. Но таким был Грин для тех, кто знал его очень мало. Он словно сам заботился о том, чтобы окружить себя атмосферой неприязни, отгородиться нарочитой грубостью от всякого непрошеного вмешательства в его внутренний мир. Годы бесприютной скитальческой жизни и порою полуголодного существования даже в относительно благополучные для литературской среды времена приучили его к настороженности и осторожности. И мало кто из знавших его в то время подозревал, сколько настоящего светлого лиризма было в его душе, сколько подлинной любви к человеку».

В годы нэпа возобновили работу частные издательства, была издана книга рассказов Грина «Белый огонь». Весной 1923 года журнал «Красная нива» напечатал новый роман Грина

«Блистающий мир», над которым он работал с осени 1921 года. Его главным героем стал летающий человек. Получив солидный гонорар, Грин с женой отправился в поездку по местам своей юности – в Севастополь и Ялту. В Гражданскую войну эти места были окрашены алой кровью Белой и Красной армий, но об этом Грин не размышлял, он погружался только в свой мир сновидений.

В мае 1924 года, продав в Петрограде, уже ставшим Ленинградом, недавно приобретенную и отремонтированную квартиру, Грин с женой переезжают жить в Крым – в Феодосию. К осени 1924 года они купили собственное жилье – квартиру на Галерейной улице (ныне в ней музей Грина). С ними вместе поселилась мать жены.

О. Воронова вспоминала: «Его квартира в Феодосии была увешана иллюстрациями к старинному французскому изданию плавания Дюмона Дервиля. Вообще, увлекался всем таинственным».

Здесь были написаны романы «Золотая цепь» (1925), «Бегущая по волнам» (1926), «Джесси и Моргиана» (1929), а также несколько новых сборников рассказов.

В послереволюционном периоде творчества Грина заметна рука зрелого мастера, принята попытка соединить мечту с действительностью. Так в «Бегущей по волнам» органично слились воедино черты авантюрного романа и фантастики, романтики и мистики, всего того, что было лишь намечено в прежних произведениях.

Пессимистические настроения писателя в полной мере отразились в последнем романе «Дорога никуда» (1930).

Тематика произведений Грина, где нет и намека на коммунистическое воспитание, возмущают как советских литературных деятелей, так и партийных чиновников. Его редко публикуют, отговариваясь, что это «несвоевременно», он влачит с женой полуголодное существование.

В 1927 году частный издатель Л.В. Вольфсон начал издавать 15-томное собрание сочинений Грина, но вышли только 8 томов – нэп закончился, Вольфсон был арестован.

В октябре 1927 года Грин ответил на анкету «Писатели дома» журнала «30 дней»:

«Я опишу один день. Встал в 6 ч. утра, пил чай, пошел в купальню, после купанья писал роман “Обвеваемый холм”, читал газеты, книги, а потом позавтракал. После этого бродил по квартире, курил и фантазировал до обеда, который был в 4 дня. После того я немного заснул. В семь часов вечера, после чая, я катался с женой на парусной лодке; приехав, еще пил чай и уснул в 9 ч. вечера. Перед сном немного писал. Так я живу с малыми изменениями, вроде поездки в Кисловодск. Когда сплю, я вижу много снов, которые есть как бы вторая жизнь».

Дополняют картину распорядка дня в Феодосии воспоминания жены: «Так вот, проснувшись рано, я первым делом иду в комнату Александра Степановича. Вчера он писал или размышлял допоздна. По полу и по столу раскиданы окурки, пепел. Воздух кисло-застоявшийся. Распахиваю окно, собираю окурки и пепел, мою пол и, вымыв, снова разбрасываю окурки по полу, но в меньшем количестве, чем прежде. Александр Степанович не разрешает, чтобы его комната убиралась, чтобы в ней мылся пол. Не потому, что он неопрятен, внутренне он ничего не имеет против чистоты и порядка, как в жилье, так и во внешнем виде, но он жалеет меня. Ему кажется, что мыть пол – труд для меня непосильный. А мне нетрудно. Но зато, когда он придет в комнату, пол будет сух, воздух чист, в окно веет запахом моря. Он войдет в свою комнату, и дух его возрадуется, а моей работы он не заметит, так как внимание его не въедливо на такие мелочи».

В 1930 году Грин продал просторную квартиру в Феодосии и вынужден был из-за нищеты поселиться в тесной мазанке в небольшом городке Старый Крым.

Юрий Олеша рассказывал: «Его комната была выбелена известью, и в ней не было ничего, кроме кровати и стола. Был только еще один предмет... На стене комнаты – на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собой хозяин, – был укреплен кусок корабля. Слушайте, он

украсил свою комнату той деревянной статуей, которая иногда подпирает бушприт! Разумеется, это был только обломок статуи, только голова, – будь она вся, эта деревянная дева, она заняла бы всю комнату, может быть весь дом, и достала бы до сада, – но и того достаточно: на стену, где у других висит зеркало или фотографии, этот человек плеснул морем».

В ленинградском журнале «Звезда» в 1931 году была напечатана «Автобиографическая повесть» Грина. В ней только чуточка правды и никакой искренности, никакого раскаяния писателя за мученическую жизнь рядом с ним самых близких ему женщин. Более правдив он был в своих художественных произведениях, о чем говорил: «Если потомки захотят меня хорошо узнать, пусть внимательно меня читают, я всего себя вложил в свои произведения».

Последние два-три года Грин почти ничего не писал. Часто навещается в Москву, реже в Ленинград, выпрашивая гонорары или авансы. И везде – губящий его алкоголь, богемные компании. Он писал о радости жизни, но повсюду притягивал к себе горе. Все, что можно было продать, он продал.

Скончался писатель на 52-м году жизни от рака желудка 8 июля 1932 года. За полгода до своей кончины, вспоминая пройденный 25-летний творческий путь, он говорил: «Когда я осознал, понял, что я художник, хочу и могу им быть, то всю свою последующую жизнь я никогда не изменял искусству, творчеству: ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути; я был писателем, им и умру...»

После смерти книги Грина появлялись все реже и реже, а в 1945 году их издание и вовсе прекратилось.

В 1956 году имя Александра Грина вновь зазвучало в положительном ракурсе. Литературовед Марк Щеглов в статье «Корабли Александра Грина (журнал «Новый мир», 1956, № 10) писал: «Судьба произведений А. Грина сложна и неустойчива. Его творчество имеет и влюбленных поклонников, и брюзгливых отрицателей. Последним удалось сделать то, то книги А. Грина сейчас почти неизвестны широкому читателю, а идеологическая репутация этого давно умершего художника до сих пор колеблется где-то на опасной грани... Корабли, бегущие по волнам в рассказах А. Грина, бегут неведомо куда и неведомо зачем, но ведь всегда в этом мире добрым и могучим людям найдется, что делать и куда направить парус. Излюбленные герои А. Грина – добрые и немного таинственные капитаны, в душе которых патриархальное благородство соседствует с современной утонченностью чувств и естественным демократизмом».

С начала 1960-х годов начинается расцвет популярности изрядно подзабытого писателя Александра Грина.

Грин – создатель вымышленной страны, которая благодаря критику Корнелию Зелинскому в 1934 году получила название «Гринландия» (сам Грин это слово не использовал, оно состоит из его фамилии и части названия разных стран – Гренландия, Ирландия, Голландия). В этой стране происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных его романтических книг – «Бегущая по волнам», «Алые паруса», «Золотая цепь». Первым произведением о Гринландии считается рассказ «Остров Рено», появившийся в 1909 году. Море для Грина не деталь пейзажа, а метафора сложных человеческих страстей. Он говорил: «До конца дней своих я хотел бы бродить по светлым странам моего воображения».

Гринландия – полуостров, почти все города которого являются морскими портами. Может быть, он находится где-то на морском побережье Китая, или, может быть, Австралии. Там можно увидеть автомобиль и кинематограф, встретить девушку Ассоль и, конечно, пуститься в плавание на парусном корабле. Там много городов – Аламбо, Гель-Гью, Зурбаган, там можно подняться на Солнечные горы, искупаться в реке Адара, прокатиться по Синнигамской железной дороге, спуститься в Западной пирамиды рудники...

Писатель Андрей Платонов утверждал: «Грин придумывает целые страны, города, проливы, моря, имена людей и самих людей не ради пустой игры, не ради освобождения своего

перенапряженного поэзией воображения. Грину необходимо, чтобы его люди жили в “специальной” стране, омываемой вечным океаном, освещенной полуденным солнцем, потому что автор, обремененный заботами о характеристике своих оригинальных героев, должен освободить их от всякой скверны конкретности окружающего мира».

Гринландией называют синтетический мир прошлого... Мир, или миф будущего... Условный миф XX века, который создал волшебник Грин.

В литературно-мемориальном музее Александра Грина в Феодосии находится рельефное панно, изображающее карту Гринландии. Карту создал художник и скульптор Савва Бродский, а расстояния между городами рассчитаны по произведениям Грина одним из создателей музея Геннадием Золотухиным.

Наверное, именно об этой сказочной стране говорил еще задолго до рождения Александра Гринева поэт Михаил Лермонтов:

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья...

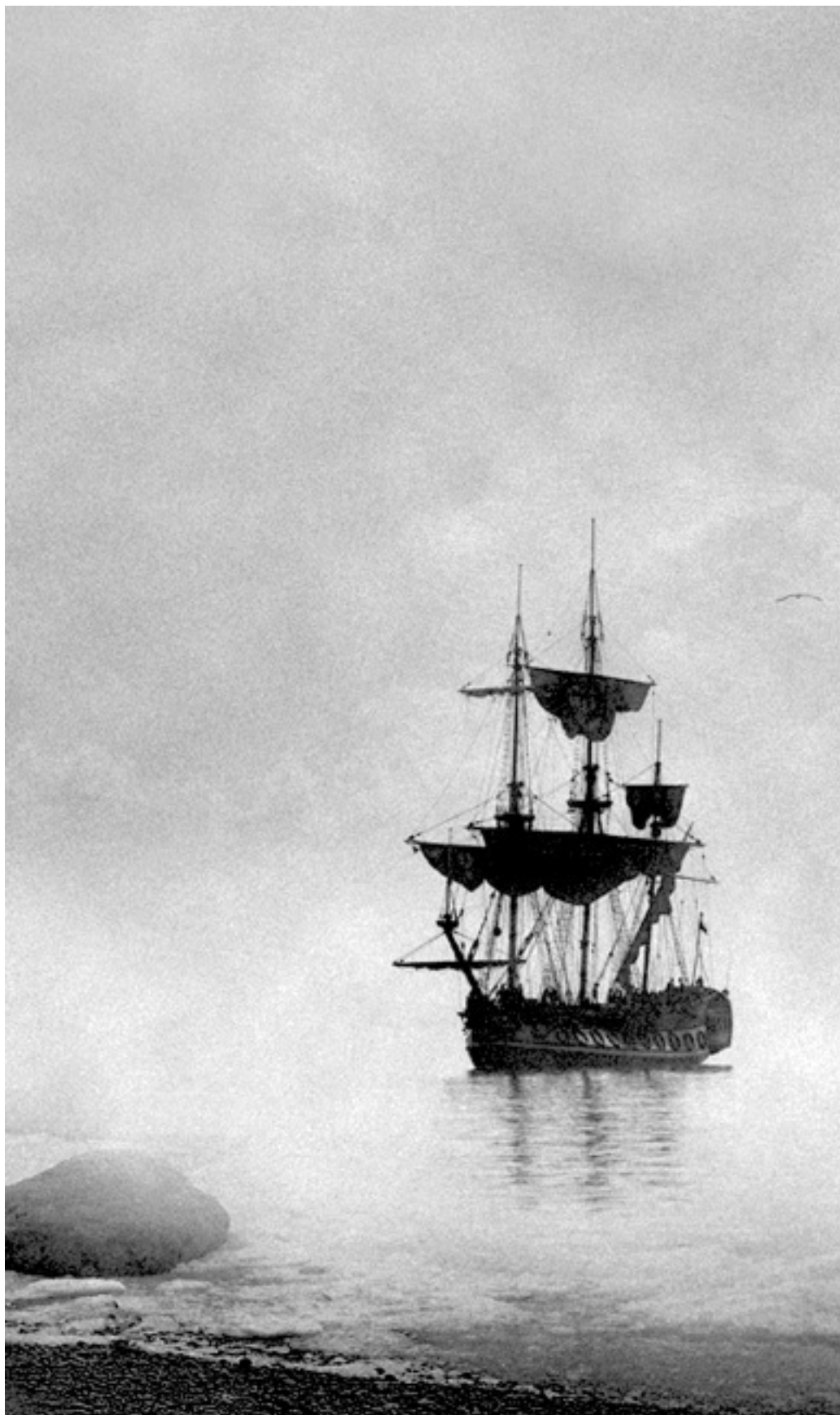
Михаил Вострышев

Легендарные парусники

«Летучий голландец»



«Летучий голландец» – легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно скитаться по океану. Уже несколько веков «Летучий голландец» вселяет страх в мореплавателей всего мира, встреча с ним – плохое предзнаменование. Об этом вечном морском скитальце рассказывают множество легенд. Все они сходны в том, что корабль и экипаж были прокляты за грехи своего капитана. Моряки других судов видят корабль-призрак только издалека и, кроме того, что это большой безмолвный парусник, ничего о нем сказать не могут.



«Герцогиня Цецилия»



Виндjamмер (буквально «выжиматель ветра») – последнее поколение крупных коммерческих парусников, появившихся в конце XIX века (их длина достигала 100–140 м). Стальные мачты позволили выше поднять паруса и увеличить парусность. Резко возросло их грузоподъемность, возросла скорость. Перевозили виндjamмеры чаще всего недорогие насыпные грузы (селитру, гуано и руду). Одним из специфических грузов, которые перевозили только парусные суда, были пианино. Дело в том, что вибрация корпусов при работе судовых двигателей крайне негативно сказывалась на настройке музыкальных инструментов.

Одни из самых красивых и быстроходных виндjamмеров – «Герцогиня Цецилия», построенная верфью Рикмерса в 1902 году и названный в честь герцогини Цецилии Макленбургской, супруги прусского кронпринца Вильгельма, наследника престола. Барк первоначально ходил из Германии в Южную Америку, но с началом Первой мировой войны был интернирован в Чили и лишь в 1920 году возвращен Германии. Там ему работы не нашлось, и за 20 тысяч долларов его купил финский судовладелец Густав Эрикссон с переводом его на австралийскую линию, где судно себя великолепно зарекомендовало. Однако в 1936 году ночью в штиль парусник сел на мель у берегов Южной Америки, и его решили не восстанавливать. С него сняли часть деталей, остальное разрушили волны.



Принцесса Цецелия Макленбург-Шверинская. Художник Филип де Ласло. 1908

«Санта Мария»



Реплика (копия судна) «Санта-Мария» в Фуншале, Португалия

«Санта-Мария» – флагманский корабль (каракка), на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. Это судно длиной не более 25 метров, с четырьмя мачтами, вместимостью не более сорока человек. «Санта-Мария» насчитывала пять парусов, которые при благоприятной погоде могли придавать судну довольно высокую скорость. Судно также отличалось высокой устойчивостью во время шторма. Последнее плавание этого легендарного парусника состоялось на Рождество 1492 года – он потерпел крушение у берегов Гаити. Обломки корабля использовались при строительстве поселения, основанного на этом месте 6 января 1493 года.



Христофор Колумб

«Виктория»



«Виктория» – самый знаменитый в истории парусный корабль, совершивший кругосветное плавание под командованием Фернана Магеллана (началось 20 сентября 1519 г. и завершилось 6 сентября 1522 г. под командованием Хуана Себастьяна Элькано). Магеллан – человек, который сумел поддерживать дух своих матросов на протяжении многомесячного изнурительного путешествия, во время которого он сам погиб. Из пяти парусников, вышедших из испанского порта Санпукар-де-Беррамеда, лишь «Виктория» завершила кругосветку и вернулась в родной порт с оставшимися в живых восемнадцатью моряками.

Полагают, что каракка «Виктория» имела три мачты, два ряда прямых парусов и один косой парус, была вооружена несколькими десятками пушек.



Фернан Магеллан

«Мэри Роуз»



Трехпалубный четырехмачтовый флагманский корабль «Мэри Роуз» (каракка) стал самым грозным и большим парусником, построенным для британского военного флота. Он был спущен на воду в 1510 году в Портсмуте. Английский король Генрих VIII Тюдор назвал его в честь своей сестры Мэри (французская королева Мария Тюдор) и геральдического знака династии Тюдоров – розы. Судно участвовало в нескольких морских сражениях во время Итальянских войн. В 1545 году, перегруженное артиллерией, судно прибыло на защиту от французов острова Уайт, и затонуло от сильного порыва ветра в проливе Те-Солент.

К 1982 году со дна пролива удалось поднять большую часть корабельных останков. Они выставлены в портсмутском порту в музее «Мэри Роуз».



Останки «Мэри Роуз» в музее

«Золотая лань»



«Золотая лань» – небольшой (длина 36,5 м, ширина 6,7 м) английский трехмачтовый галеон был построен в 1560-х годах и первоначально назывался «Пеликан». На нем английский мореплаватель Френсис Дрейк между 1577 и 1580 годами в составе эскадры из шести кораблей предпринял пиратскую экспедицию в Вест-Индию и совершил второе после Магеллана кругосветное плавание. Дрейк переименовал «Пеликана» в «Золотую лань» в честь своего покровителя британского лорда-канцлера, на гербе которого была изображена золотая лань.

В 1973 году британские кораблестроители изготовили точную копию парусника «Золотая лань», которая спустя четыре столетия после Дрейка повторила кругосветный маршрут своей древней предшественницы. С 1996 года судно-реплика находится на вечной стоянке на берегу Темзы в Лондоне и используется как музей.



Френсис Дрейк

«Дейфкен»



«Дейфкен» – трехмачтовый барк с восемью пушками на вооружении, построенный по заказу Голландской Ост-Индской компании и спущенный на воду в 1595 году. Это было довольно быстроходное судно (длина около 20 м, ширина 6 м, с осадкой 2,4 м) и легкое, рассчитанное на небольшой экипаж (до 15 человек). На нем голландский мореплаватель Виллем Янсзон в 1605 году отправился из Бантама в сторону западного побережья острова Новая Гвинея. Путь привел его к незнакомым островам, которые он назвал Новой Зеландией. Так он стал первым европейцем, достигшим берегов Австралии.

В 1608 году судно было уже настолько истрепанным после морского сражения с испанскими кораблями, что его признали не подлежащим ремонту. Изображения «Дейфкена» не сохранилось, и детали его облика неизвестны. Но австралийцы в 1999 году построили парусник, который выдается ими за точную копию существовавшего четыремя веками раньше «Дейфкена».



Виллем Янсзон

«Мейфлауэр II»



Английский торговый галеон «Мейфлауэр» («Майский цветок», так в Англии называли боярышник) в 1620 году одним из первых доставил через Атлантический океан в Северную Америку из английского города Плимута 102 переселенца. Они называли себя пилигримами.

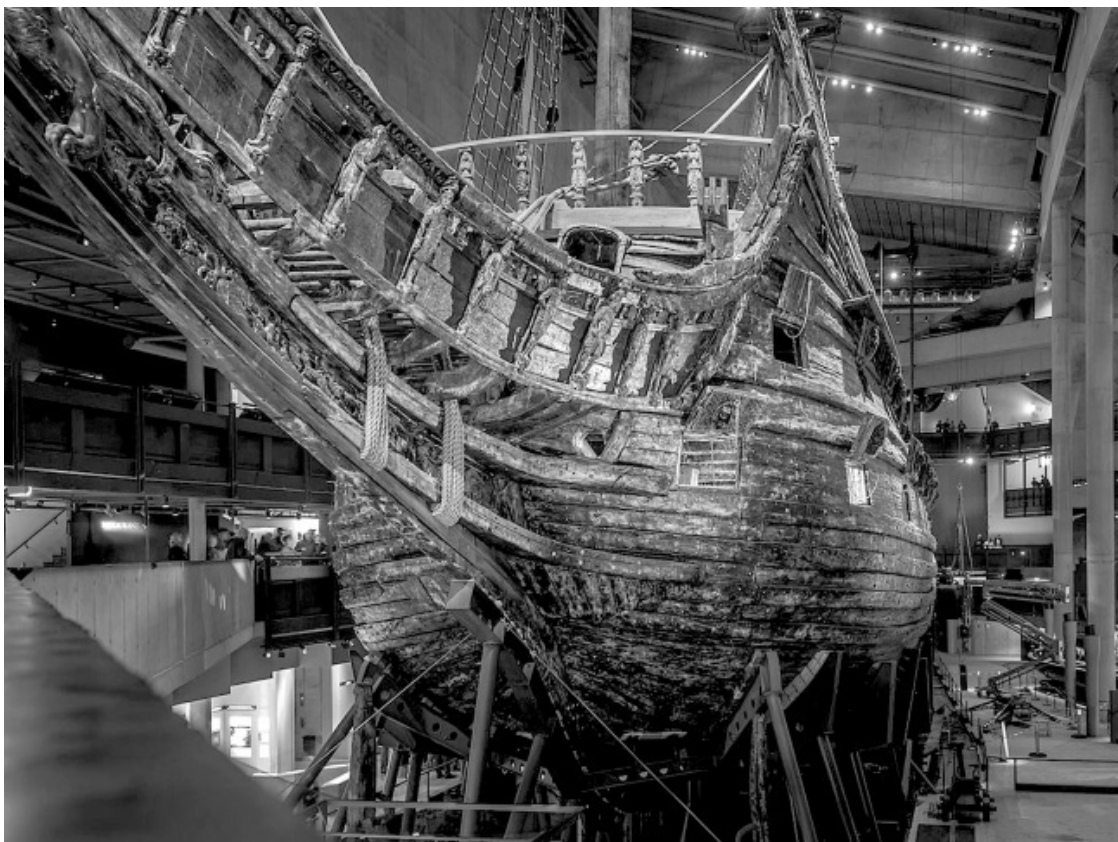
Парусное судно «Мейфлауэр» имело водоизмещение 180 тонн и оказалось тесным для такого количества пассажиров. Но добрались благополучно, в плавание даже родился 103-й пассажир. Так началась Плимутская колония, которая потом выросла в Соединенные Штаты Америки. Корабль больше не оправлялся в столь далекие рейсы, курсируя до 1623 года между Англией, Францией, Испанией и Норвегией.

В Примутской бухте с 1957 года помещен музейный экспонат – полноразмерная копия парусника – «Мейфлауэр II». В 2020 году в США широко отмечалось 400-летие прибытия «Мейфлауэра» с переселенцами в Америку.



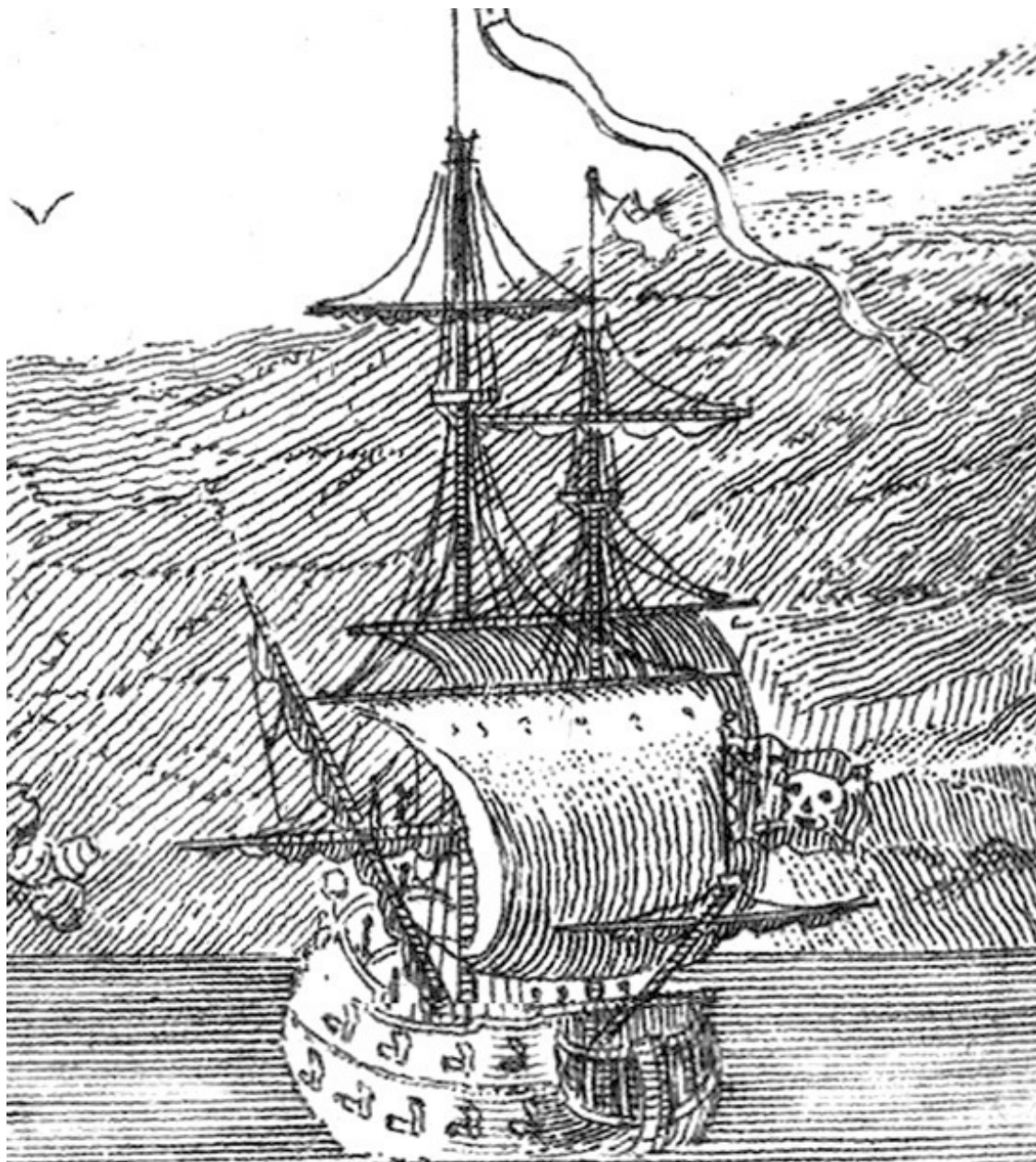
Первые переселенцы

«Ваза»



Парусный корабль «Ваза» («Васа») спущен на воду и принят на вооружение в Швеции летом 1628 года (длина 69 м, ширина 11,7 м). Свое название этот галеон получил в честь царствовавшей в то время династии шведских королей Васа. Один из самых больших и дорогостоящих кораблей, он должен был стать флагманом шведского флота, чтобы единолично господствовать над Балтийским морем. Однако из-за конструктивных ошибок при первом своем выходе из Стокгольмской гавани корабль опрокинулся и затонул. Поднятый со дня моря в 1961 году, он был законсервирован, отреставрирован и стал музейным экспонатом. Это единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века. На нем предусмотрены места для размещения 64 пушек.

«Месть королевы Анны»

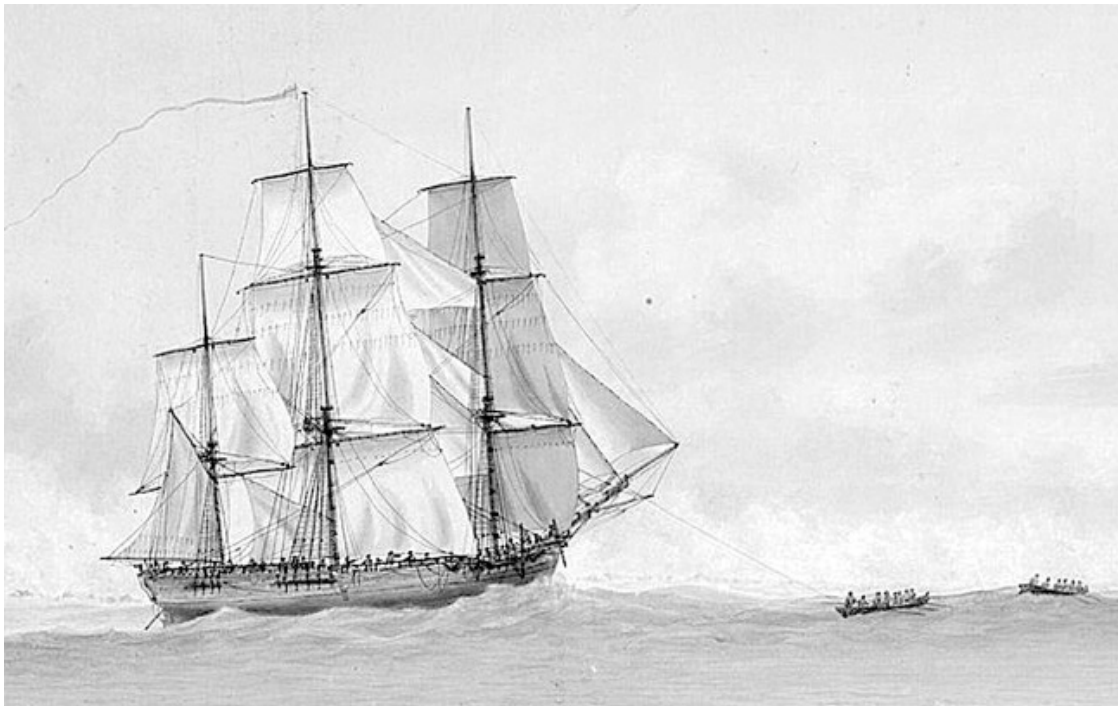


«Месть королевы Анны» – флагманский корабль капитана Эдварда Тича, по прозвищу Черная Борода. Судно было построено в 1710 году и первоначально называлось «Конкорд» (водоизмещение – 200 тонн). В 1713 году его продали Испании, а затем оно перешло в собственность Франции. В 1717 году его захватил Черная Борода – английский пират, действовавший в районе Карибского моря. Он увеличил количество пушек до 40, переоборудовал внутренность судна и назвал его «Месть королевы Анны». В июне 1718 года корабль сел на мель у побережья Северной Каролины. В апреле 2012 года его обнаружили американские археологи и начали работы по подъему судна.



Эдвард Тич – Черная Борода

«Индевор»



**«Индевор» возле берегов Новой Голландии.
Художник Самуэл Алкинс. 1794**

Трехмачтовый корабль с прямыми парусами «Индевор» (в переводе с английского – усилие) сошел со стапелей в приморском городке Уитби в 1764 году и первоначально предназначался для перевозки угля. Он принадлежал к разряду «кет-билт» – судов с прямым широким носом. На корабле было 22 пушки, из них 12 – на поворотных лафетах.

В 1768 году судно приобрело английское Адмиралтейство, затем – известный мореплаватель Джеймс Кук. Он совершил на нем свое первое кругосветное путешествие 1768–1771 годов, преследовавшее научные астрологические цели. «Этот корабль, – отмечал Кук в дневнике, – хороший ходок и легок в управлении».

После экспедиции Кука 11 июня 1772 года «Индевор» вернулся в Лондонский порт в плачевном состоянии. Его останки обнаружили в 2016 году на дне океана у берегов американского города Ньюпорт-Харбор.



Джеймс Кук

«Баунти»



«Баунти» – трехмачтовый корабль, сошедший со стапелей в Дептфорде в 1787 году как британское торговое судно (водоизмещение 215 тонн). Судно под командованием лейтенанта Уильяма Блая 23 декабря 1787 года направилось на Таити, чтобы доставить оттуда на плантации Ямайки саженцы хлебного дерева. Однако, когда корабль направился на Ямайку, 28 апреля 1789 года на борту произошёл бунт, в результате которого помощник капитана Флетчер Кристиан захватил власть на судне, высадив Блая и остававшихся верных ему членов команды на баркас, а с остальными моряками возвратился на Таити. Сам корабль вскоре после высадки мятежников на острове Питкэон был сожжён, чтобы никто не смог бежать с острова.

История восстания на «Баунти» получила большую огласку в Великобритании и приобрела романтическую окраску. Она нашла отражение в произведениях известных писателей, таких как Джордж Байрон, Марк Твен, Жюль Верн, Уильям Вордсворт...



**Мятежники высаживают из «Баунти» капитана Блая и часть команды.
Художник Роберт Додд**

«Конституция»



«Констительюин» («Конституция») – старейший из парусных кораблей в мире, находящихся на плаву. До сих пор числится в боевом составе американского флота. Известен также под названием «Железнобокий старина». Это прозвище получил после того, как во время англо-американской войны 1812–1814 годов было отмечено, что ядра британских кораблей отскакивают от его бортов, которые были сделаны из виргинского дуба.

Фрегат был спущен на воду 21 октября 1797 года, участвовал во многих морских сражениях. В 1997 году в честь празднование 200-й годовщины своей постройки он совершил выход в море под парусами. В настоящее время находится в гавани города Бостон, штат Массачусетс. Корабль включен в список важнейших достопримечательностей США.



«Седов»



Четырехмачтовый огромный барк был построен в Германии в 1921 году и в декабре 1945 года в качестве репарации передан Советскому Союзу и назван «Седов» в честь русского полярного исследователя Георгия Седова. Один из самых больших парусников в мире, он выполнял рейсы из Европы в Южную Америку и Австралию. Ныне является учебным судном и приписан к Калининградскому техническому университету.

«Надежда» и «Нева»



«Надежда» и «Нева» – два небольших трехмачтовых шлюпа, купленные в 1802 году Россией в Англии. На них под командованием Иван Крузенштерна и Юрия Лисянского в 1803–1806 годах совершено первое в истории русского мореплавания кругосветное плавание, отмеченное рядом открытий в бассейне Тихого океана. В июле 1806 года с разницей в две недели оба шлюпа вернулись на Кронштадтский рейд.

В 1807 году «Нева» посетила Австралию (первое посещение русскими моряками этого континента), а в 1813 году шлюп потерпел крушение у берегов Аляски. «Надежда» погибла, затертая льдами в декабре 1808 года у берегов Дании.

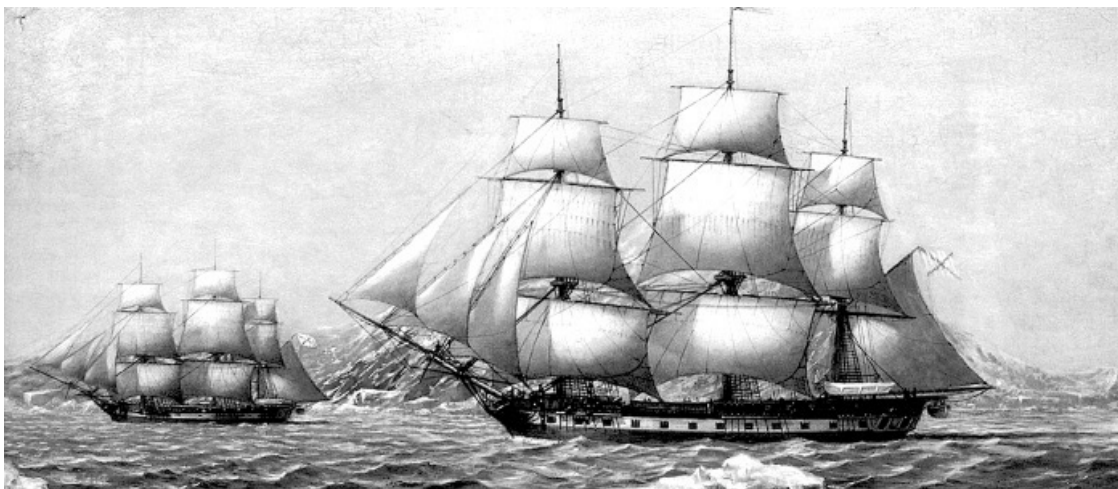


И.Ф. Крузенштерн



Ю.Ф. Лисянский

«Восток» и «Мирный»



На шлюпах «Восток» и «Мирный» русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в 1819–1821 годах совершили экспедицию к Южному полюсу и открыли 30 января 1821 года последний континент на планете – Антарктиду.

«Восток» (длина 39,6 м, ширина 10,7 м) был спущен на воду в на Охтенской верфи в Санкт-Петербурге в 1818 году.

«Мирный» (длина 36,6 м, ширина 9,2 м) был спущен на воду на Олонецкой верфи в городе Лодейное поле Санкт-Петербургской губернии в 1818 году.

Закончив кругосветное плавание, оба шлюпа в июле 1821 года вернулись на Кронштадтский рейд. «Восток» несколько лет перевозил грузы между Кронштадтом, Рончесальмом и Свеаборгом. В 1828 году он был исключен из списков российского флота и разобран. «Мирный» служил на Балтике до 1830 года, после чего был также списан и разобран.



Ф.Ф. Беллинсгаузен



М.П. Лазарев

«Меркурий»

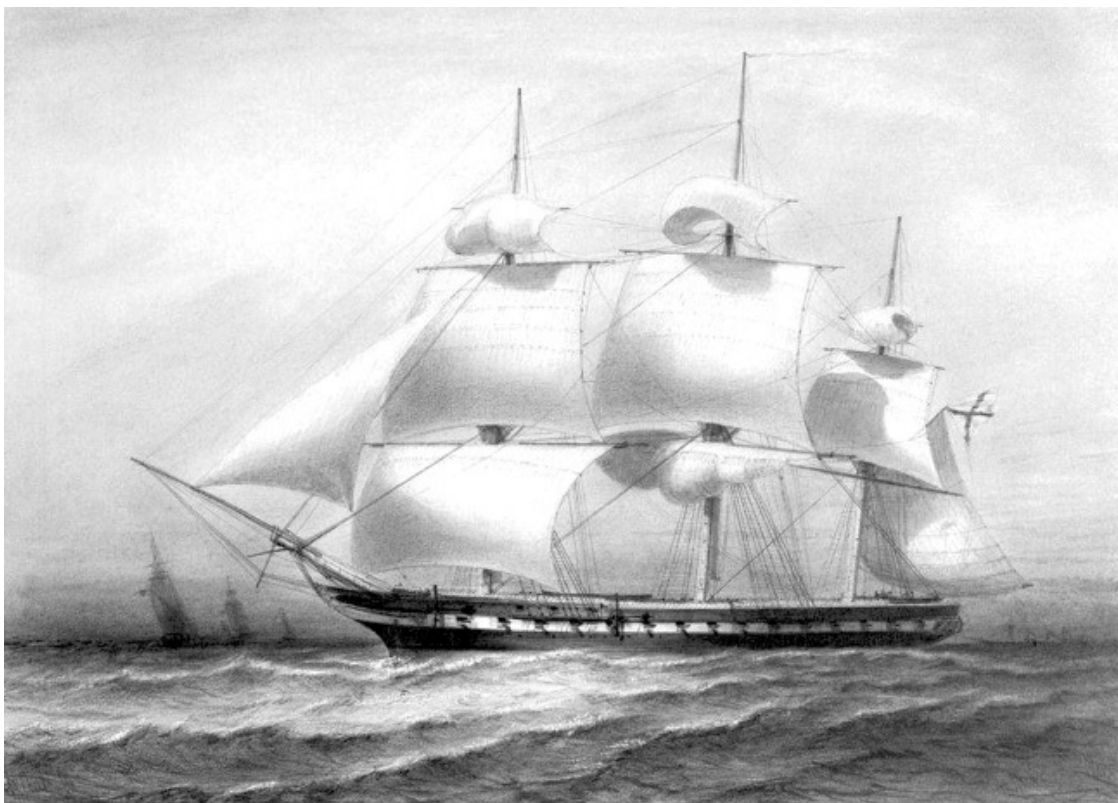


**Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Художник И. К. Айвзовский. 1892**

Военный бриг «Меркурий» – 16-пушечный корабль российского флота с двумя мачтами (фок и грот) с четырьмя рядами прямых парусов на каждой. Выстроен корабль был из крымского дуба и спущен на воду в Севастополе 7 мая 1820 года. Имел по семь весел на каждом борту. В мае 1829 года во время русско-турецкой войны бриг одержал победу в бою с двумя турецкими линейными кораблями, чем увековечил свое имя и за что был награжден кормовым Георгиевским флагом.

Еще многие годы бриг курсировал по Черному морю. В 1857 году ввиду крайней ветхости был исключен из списков флота и разобран.

«Паллада»



Фрегат российского военного флота «Паллада» был построен по личному указанию императора Николая I на Охтенском адмиралтействе в Санкт-Петербурге и спущен на воду 1 сентября 1832 года (длина 52, 8 м, ширина 13,6 м). Был оснащен 52 пушками. За первые полтора десятилетия «Паллада» почти не выходила за пределы Финского залива. После капитального ремонта с 1847 года фрегат стал совершать заграничные турне.

В 1852–1855 годах фрегат совершил плавание под командованием вице-адмирала Е.В. Путятина с дипломатической миссией из Кронштадта через Атлантический, Индийский и Тихий океаны к берегам Японии. В этом рейсе участвовал писатель Иван Гончаров, написавший о плавании путевые очерки. В начале 1856 года обветшавший фрегат был затоплен в Амурском лимане.

ФРЕГАТЪ ПАЛЛАДА

ОЧЕРКИ ПУТЕШЕСТВІЯ

Ивана Гончарова

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ .

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНИЕ А. И. ГЛАЗУНОВА

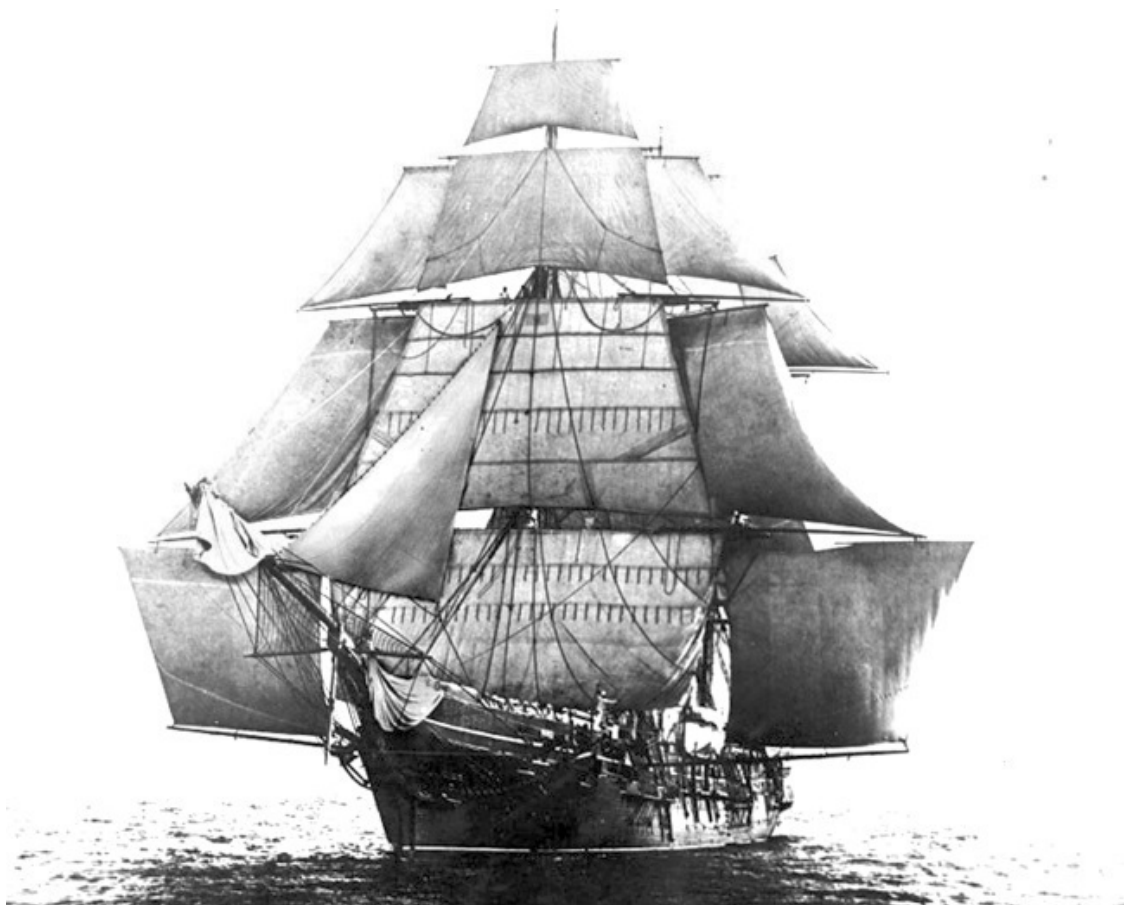


С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1858

Книга очерков Ивана Гончарова «Фрегат Паллада»

«Грейт Рипаблик»

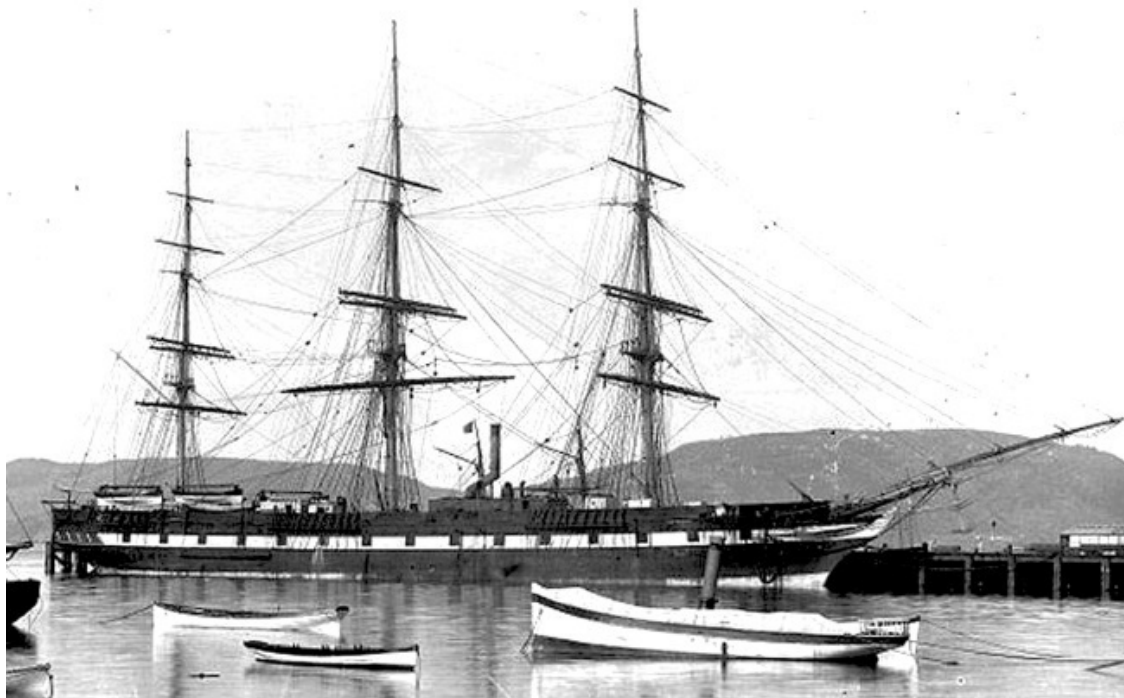


Клипер «Грейт Рипаблик» – самый большой деревянный парусник XIX века. Его построил знаменитый американский судостроитель Дональд Маккей. Спущен на воду в Бостоне в 1853 году. За сутки корабль мог преодолевать до четырехсот миль. Длина четырехпалубного клипера составляла 101,5 м, ширина 16,2 м, высота грота – 70 м). Но в свое первое плавание он не вышел. Ночью 26 декабря 1853 года на нью-йоркской набережной Саут-Стрит, где стоял «Грейт Рипаблик», загорелись склады. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на просмоленный новый парусник. Он вспыхнул как спичка. Пожар тушили в течение двух суток, сгорела почти вся надводная часть судна. Маккей восстановил парусник за 15 месяцев, поставив четыре мачты и уменьшив число палуб до трех. Свой первый рейс клипер совершил в Англию. Позже был куплен одной английской торговой компанией и переименован в «Денмарк». Затонул, попав в шторм, в 1872 году.



Дональд Маккей

«Черный принц»



«Принц» («Черный принц») – британский парусно-винтовой фрегат, выстроенный в 1854 году. Сразу же с грузом теплой одежды и жалованием для солдат направился в Черное море к Севастополю, где шли сражения Крымской войны. Попал 14 ноября 1854 года, стоя на якоре близ Балаклавы, в сильный шторм и, развалившись на части, затонул. Из 150 человек, находившихся на борту, спастись удалось лишь шестерым.

Эта морская катастрофа породила легенды о сокровищах «Черного принца». С 1870-х годов его обломки искали немцы, французы, норвежцы, итальянцы. В 1920-х годах тем же безрезультатно занимались советские чекисты. Обломки «Принца» были найдены лишь в 2010 году экспедицией Национальной академии наук Украины.

«Грейт Истерн»



Британский пароход «Грейт Истерн» назван по имени первого его владельца (первоначально назывался «Ливиафан»). Спущен на воду в 1858 году и до конца XIX века оставался самым большим парусным судном (длина 211 м, ширина 25 м). Шесть его мачт именовались в соответствии с днями недели – от понедельника до субботы. Корабль не мог идти под всеми парусами, одновременно используя паровые двигатели: дым из труб привел бы к возгоранию ближайших парусов.

«Грейт Истерн» мог перевозить за раз до четырех тысяч пассажиров и намного превосходил по размерам корабли своего времени. Предназначался для рейсов в Индию вокруг Африки без пополнения запасов топлива. Заслужил дурную славу из-за большого числа связанных с ним несчастных случаев.

С 1885 года судно использовалось в Ливерпуле в качестве плавучего цирка и рекламного щита. В 1889–1890 годах парусник был разобран.

«Катти Сарк»

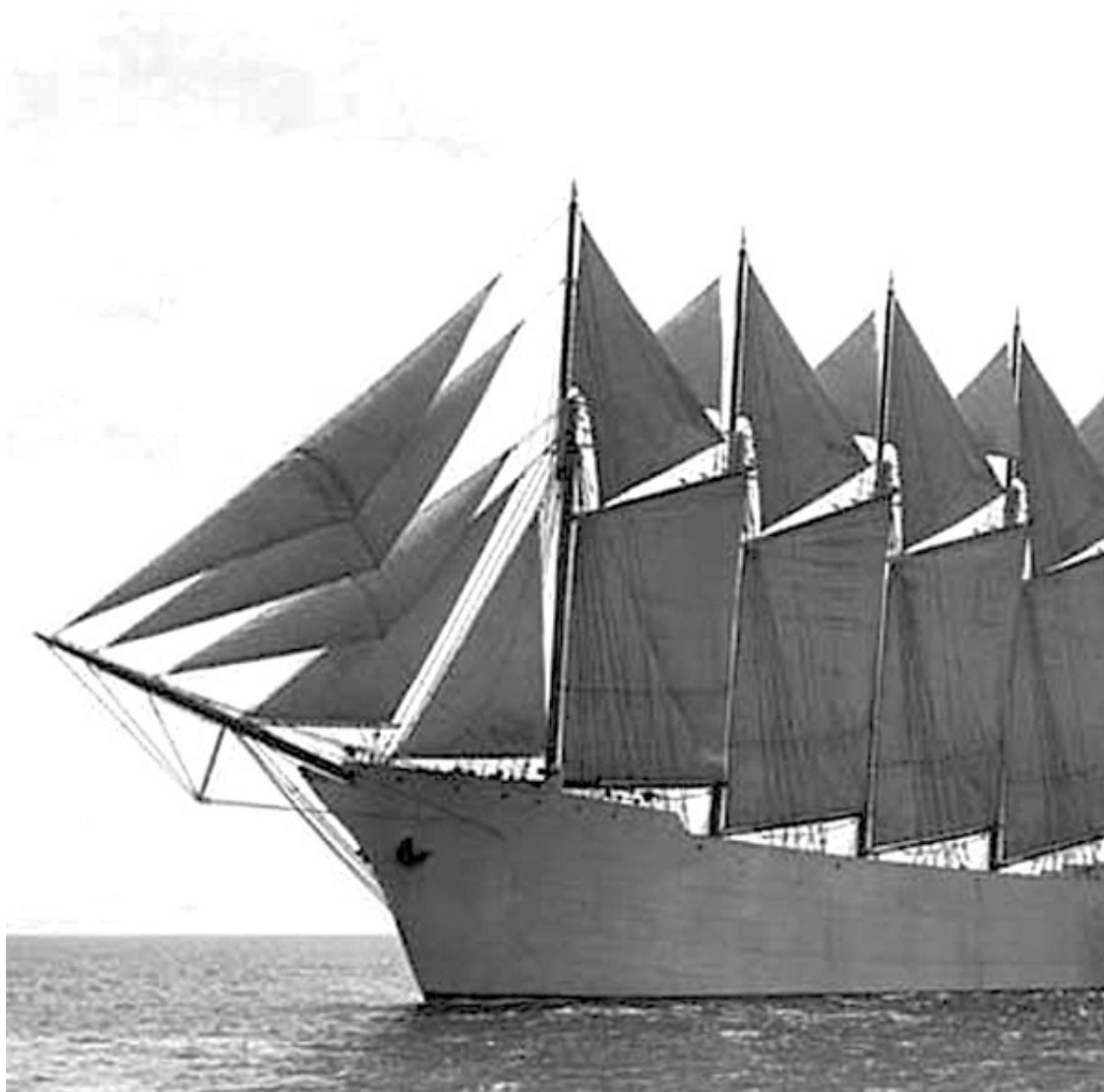


«Катти Сарк» – наиболее известный и единственный сохранившийся трехмачтовый чайный клипер. Был спущен на воду 23 ноября 1869 года в шотландском городе Дам-бартон. «Катти Сарк» в переводе с шотландского означает «Короткая рубашка». Так звали легендарную шотландскую ведьму. Судно использовалось для перевозки чая из Китая в Лондон. В 1895 году продано португальской компании, получив новое название – «Феррейра». Потом судно еще несколько раз перепродавали и перестраивали, пока в 1922 году оно не вернулось в Великобританию и со временем приняло свой первоначальный вид. С 1954 года находится как музейный экспонат в сухом доке в Гринвиче. В честь клипера был назван сорт виски с его изображением на этикетке.



Виски «Катти Сарк»

«Томас У. Лоусон»



Самая большая в мире шхуна «Томас У. Лоусон» была построена в США в 1902 году. Названа в честь американского бизнесмена и писателя Томаса Лоусона. Имела рекордное число мачт – семь. Парусник благополучно курсировал с сыпучими грузами между США и Канадой более пяти лет. А 19 ноября 1907 года он отправился из Филадельфии в свой первый и последний рейс через Атлантику с полными трюмами бочек с нефтепродуктами. Судно попало в сильнейший шторм и налетело на прибрежные скалы у берегов Англии. Погибло семнадцать человек из девятнадцати членов экипажа.

«Кон-Тики»



«Кон-Тики» – плот из бальсовых бревен под парусом, на которых Тур Хейердал и пять его спутников совершили путешествие в 1947 году по маршруту миграции из Южной Америки предполагаемых предков полинезийцев (согласно теории Хейердала).

Плот состоял из девяти бальсовых бревен длиной от 10 до 14 метров, сложенных так, что у плотa был острый нос. «Кон-Тики» был оснащен прямоугольным парусом и соответствовал конструкции плотов, на которых инки совершали океанские путешествия. Назван был плот в честь легендарного героя полинезийских сказаний, который с группой единоплеменников основал поселения на островах Полинезии.



Экипаж «Кон-Тики». Слева направо: Кнут Хаугланд, Бенгт Даниельссон, Тур Хейердал, Эрик Хессельберг, Турстейн Робю и Герман Ватцингер

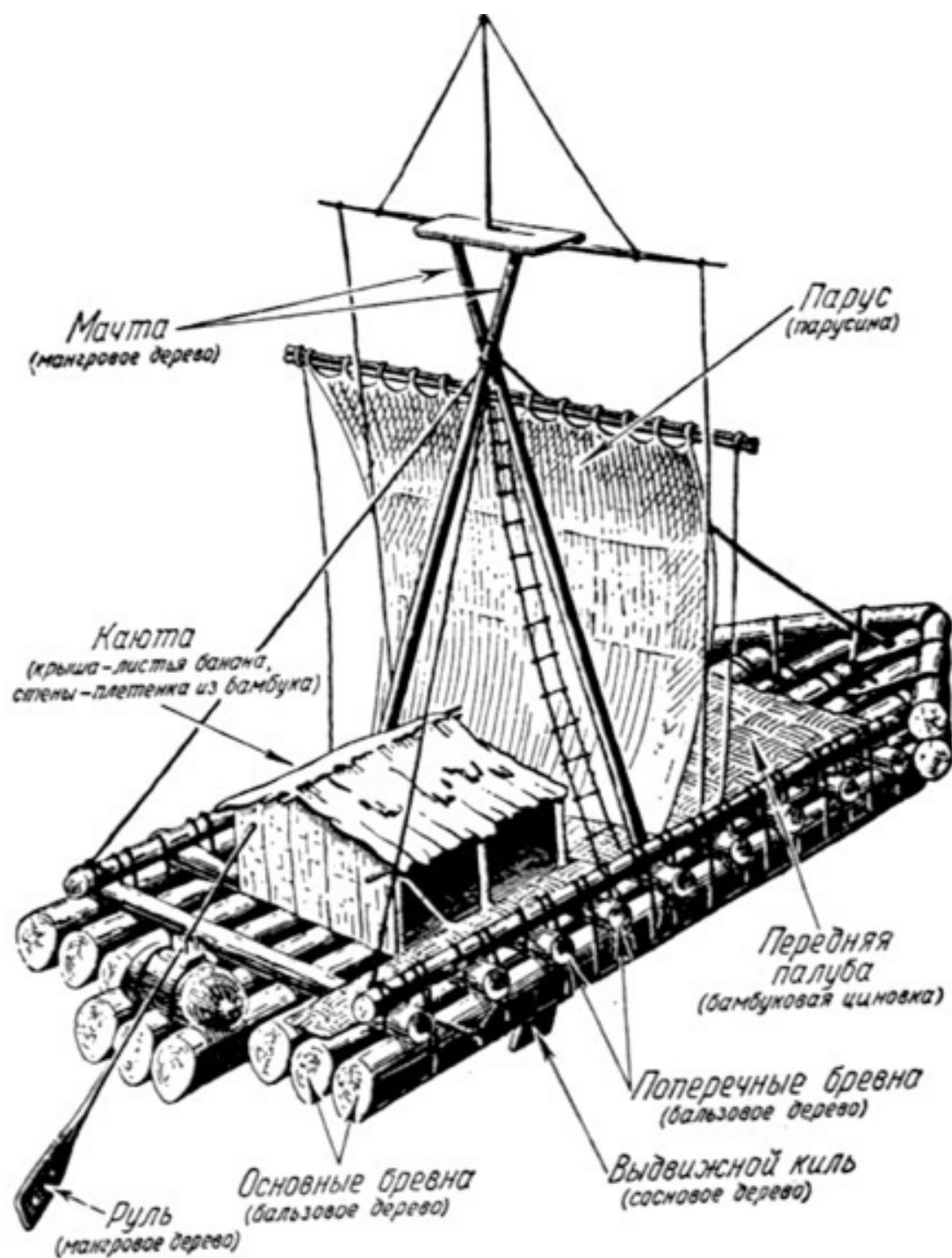


Схема устройства плота «Кон-Тики»

Хроники Гринландии

Остров Рено

*Внимай только тому голосу, который говорит без звука.
(Древнеиндусское писание)*

I. Одного нет

Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымилась в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей растопленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения.

Лучей становилось все меньше, они гасли, касаясь воды, по мере того, как полудиск превращался в узкий, красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились в черной, как тихая смола, воде рейда, и Южный Крест рассыпался на небесном бархате крупными, светлыми брильянтами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилием и погас.

Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние; черная громада берега казалась совсем близкой; клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега пряной духотой и сыростью береговой чаши; там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных, хитрых врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря.

Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук в двести, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных три часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.

– В самом деле, – пробормотал лейтенант, – парни не торопятся.

Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой, черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:

– Наши не возвращаются.

– Да; и вам следовало бы знать об этом больше, чем мне, – сухо сказал офицер. – Четыре часа; как вам это нравится, господин боцман?

Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:

– Так что же?

– Приедут, – сказал боцман, – ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин.

– Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть.

– Пять человек, господин лейтенант?

– Хотя бы и пять. Не забывайте также, что здесь есть звери.

– Пять ружей, – пробормотал боцман, – это шутки для зверей... плохие шутки... да...

Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да... в самом деле... возможно... может быть...»

Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство; клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.

– Что вы там слышите? – спросил офицер. – Лучше позаботились бы вперед отпускать не шатунов, а служак. Что?

– Весла, – кратко ответил боцман, сдвигая брови. – Вот послушайте, добавил он, помолчав. – Это ворочает Буль. А вот хлопает негодяй Рантэй. Он никогда не научится грести, господин лейтенант, будьте спокойны.

Лейтенант прислушался, но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.

– Едут! – процедил он, сочно выплевывая табак. – Рантэй, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В том-то и весь секрет... А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной... Да...

– Старина, – перебил лейтенант, – неужели вы слышите что-нибудь?

– Я? – Боцман неторопливо вздохнул и хитро улыбнулся. – Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милую, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно, так, господин лейтенант, хоть будь полный штиль.

– Да, – сказал лейтенант, – теперь и я, пожалуй, начинаю различать что-то.

Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрип уключин; шлюпка вошла в полумрак корабельного света; лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:

– Канальи!..

Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим подымались наверх матросы и выстроились на шканцах, лицом к морю.

Лейтенант стал считать:

– Один, два, три... и... Пойдите, Матью, сколько их было?

– Было-то их пять, господин лейтенант. Вот задача!

– Ну, – нетерпеливо спросил офицер, – где же пятый?

– Пятый? – сказал крайний матрос. – Пятый был Тарт.

И, помолчав, нерешительно объяснил:

– Он пропал... Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет.

Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не находя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:

– То есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантэй говорит: – «Надо ехать». А я говорю: – «Пойдите, как же так? У Тарта нет шлюпки... Да, – говорю я, шлюпки у него нет...»

Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышлял, шевеля сморщенными губами.

– Пойди, – сказал лейтенант унылым голосом, – как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром, и Тарт валяется где-нибудь под деревом?

Матрос заволновался от желания передать подробности и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантэй не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказал все.

В его изображении дело было так: никто не заметил, как Тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое – кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать.

Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Боцман сплевывал табачную жвачку и хмурился.

Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубахи и вспотевшим одутловатым лицом, он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные седеющие усы. Изредка поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливал на нем рассеяннo-неподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:

– Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Куда запропастилась семерка, черт ее поberi?

Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:

– Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело.

Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:

– Завтра, чуть свет, пошлите шесть человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар. Он с юга?

– Не знаю, – сказал лейтенант, – впрочем...

– Конечно, – перебил капитан, пронизательно сощуривая глаза, – дело ясное. Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет десятый. Впрочем, что долго толковать; если он умер – черт с ним, а если жив – сотню линьков в спину!

Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв в фараон четверть годового жалованья, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала, возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение.

Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там бродит заблудившийся Тарт, а может быть, лежит мертвый с желтым, заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.

«Все умрем», – подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блестит песок, вымытый солнцем.

II. Что говорит лес

Когда пять матросов высадились на берег и прежде, чем наполнять бочки, решили поразмять ноги, выпустив пару-другую зарядов в пернатое население, Тарт отделился от товарищей и шел, пробираясь сквозь цветущие заросли, без определенного направления, радуясь, как ребенок, великолепным новинкам леса. Чужая, прихотливо-дикая чаща окружала его. Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава. Не было имен этому миру. И Тарт молча принимал его. Широко раскрытыми,

внимательными глазами шупал он дикую красоту. Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами – все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово – розовые, синие – они утомляли зрение, дразнили и восхищали.

Тарт шел, как пьяный, захмелев от сырого, пряного воздуха и невиданной щедрости земли. Буковые леса его родины по сравнению с островом казались головой лысого перед черными женскими кудрями. С любопытством и счастливым недоумением смотрел он, закинув голову, как стая обезьян, размахивая хвостами и раскачиваясь вниз головой на попутных сучках, промчалась с треском и свистом, распугав птиц. Зверьки скрылись из виду, певучая тишина леса монотонно звенела в ушах, а он стоял, держа палец на спуске ружья и сосредоточенно улыбаясь. Потом медленно, смутно почувствовав на лице чужой взгляд, вздохнул и бессознательно осмотрелся.

Но никого не было. Так же, как и минуту назад, свисая над головой, громоздилась, загромождала небо, живая ткань зелени; перепархивали птицы; желтели созревшие большие плоды, усеянные колючками. Тарт перевел взгляд на ближайшие сплетения вогнутых, как зубчатые чашки, листьев и заметил маленькое, зеленоватое нечто, похожее на незрелую сливу. Присутствие напряженной, внимательной силы сказывалось именно здесь, в трех шагах от него. Слива чуть – чуть покачивалась на невидимом стебле; матрос беспокойно зашевелился, бессильный объяснить свою собственную тревогу, центром которой сделался этот, почти незаметный, плод. Он протянул руку и быстро, с внезапной гадливой дрожью во всем теле, отдернул пальцы назад: маленькая, блестящая, как жидкий металл, змея, прорезав приплюснутой головой воздух, задвигалась в листьях. Тарт нахмурил брови и ударил ее стволом штуцера. Животное упало в траву, издав легкий свист; Тарт отпрыгнул и торопливо ушел подальше.

Откуда-то издалека донесся звук выстрела, за ним другой: товарищи Тарта охотились, по-видимому, серьезно. Матрос задумчиво остановился. Еще один отдаленный выстрел всколыхнул тишину, и Тарт вдруг сообразил, что он ушел дальше, чем следовало. Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета. Иногда казалось ему, что он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу, с широко открытыми глазами; что нет уже ни океана, ни клипера и что не жил он никогда в мире людей, а всегда бродил тут, слушая музыку тишины, свое дыхание и голос отдаленных предчувствий, смутных, как детский сон.

Лес становился темнее, ближе придвигались стволы, теснее сплетались над головой Тарта зеленые зонтики, ноги проваливались в пышном ковре, затихли голоса птиц. Расплывчатые видения носились в сумеречных объятиях леса и жили мимолетным существованием. Бесчисленные глаза их, невидимые для Тарта, роились в воздухе, роняли на его руки слезы цветов, сверкали зеленоватыми искрами насекомых и прятались, полные сосредоточенной думы, печали нежной, как грустное воспоминание. Все дальше и дальше шел Тарт, погруженный в тревожное оцепенение и тоску.

И, наконец, идти стало некуда. Глухая дичь окружала его, почти совершенная темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью. Протягивая вокруг руки, он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки. Задыхаясь от духоты, тревоги и необъяснимого, томительного волнения, Тарт зажег восковую спичку, осветив зеленый склеп. Он был, как в ящике. Со всех сторон громоздились зеленые вороха, стволы тупо смотрели сквозь них, покрытые влажным блеском.

Тарт бросил спичку и, оглушенный темнотой, кинулся напролом. Это было отчаянное сражение человека с лесом, желания – с препятствием, живого тела – с цепкой, почти непронизанной стеной. Он брал приступом каждый шаг, каждое движение ног. Тысячи могучих пружин хлестали его в грудь и лицо, резали кожу, ушибали руки, молчаливые бешеные объятия откидывали его назад. Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся, Тарт рвался вперед, останавливался, набирал воздуха и снова, как солдат, стиснутый неприятелем, шел шаг за шагом сквозь темную глушь.

Свет наступил неожиданно, в то время, когда Тарт всего менее ожидал этого. Измученный, но довольный, вытирая рукавом блузы исцарапанное, вспотевшее лицо, он выпрямился, открыл глаза и, вздрогнув, снова закрыл их. С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решался поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окружающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза.

Перед ним был овальный лесной луг, сплошь покрытый густой, сочной зеленью. Трава достигала половины человеческого роста; яркий, но мягкий цвет ее поражал глаз необычайной чистотой тона, блеском и свежестью. Шагах в тридцати от Тарта, закрывая ближайшие деревья, тянулись скалы из темно-розового гранита; оборванный круг их напоминал неправильную подкову, концы которой были обращены к Тарту. В очертаниях их не было массивности и тупости; остrokонечные, легкие, словно вылепленные тонкими пальцами из красноватого воска, они сверкали по краям изумрудной поляны коралловым ожерельем, брошенным на зеленый шелк. Радужная пыль водопадов дымилась у их вершин: в глубоком музыкальном однообразии падали вниз и стояли, словно застыв в воздухе, паутинно-тонкие струи.

Их было много. То рядом, теснясь друг к другу, лилась вниз их серебряная, неудержимая ткань, то группами, по два и по три, тихо свержались они с влажного каменного ложа в невидимый водоем; то одинокий каскад, ныряя в уступах, прыгал с высокого гребня и сеял в воздухе прозрачное, жидкое серебро; то ровная стеклянная полоса шумела, разбиваясь о камни, и пылила сверкающим градом брызг. Тропическое солнце миллиардами золотых атомов ликовало в игре воды. И все падали, падали вниз бисерным полукругом тонкие, тихие водопады.

Тарт глубоко вздохнул и засмеялся; тихая улыбка осталась в его лице, полном напряженного восхищения. Деревья, выросшие вокруг луга, также поразили его. Темно – зеленые широкие листья их светлели, приближаясь к стволу, бледнели, прозрачно золотились и в самой глубине горели розовым жаром, тоненькие и розовые, как маленькая заря. Раскидистые, приподнятые над землей корни держали на весу ствол.

Снова Тарт перешел глазами на луг, так он был свеж, бархатно-зелен и радостен. Светлая пустота переливалась вдали, у скал, дрожью воздушных течений, однозвучную мелодию твердили тонкие водопады. И розовые горны темно-зеленых куп открывали солнечному потоку первобытную прелесть земли.

Инстинктивно трепеща от вспыхнувшей любви к миру, Тарт протянул руку и мысленно коснулся ею скалистых вершин. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному торжеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание, полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света, пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами: голос его летел к водопадам, бился в каменные уступы и, три-

жды повторенный эхом, перешел в песню, вызванную внезапным, мучительным потрясением, страстную и простую.

Кто спит на вахте у руля,
Не размыкая глаз?
Угрюмо плещут лиселя,
Качается компас,
И ждет уснувшая земля
Гостей веселых – нас.
Слабеет сонная рука,
Умолк, застыл штурвал;
А ночь – угроза моряка
Таит зловеший шквал;
Он мчится к нам издалика,
Вскипел – и в тьме пропал.
Пучина ужасов полна,
А мы глядим вперед,
Туда, где знойная страна
Красотками цветет.
Не спи, матрос! Стакан вина,
И в руки – мокрый шкот!
Мы в гавань с песней хоровой
Ворвемся, как враги,
Как барабан – по мостовой
Веселые шаги!
Проснись угрюмый рулевой,

Темно; кругом – ни зги!

Мелодия захватила его, долго еще, без слов, звучал его голос, повторяя энергичный грустный напев матросской песни. Без желаний, без дум, растроганный воспоминаниями о том, что было в его жизни так же прекрасно и неожиданно, как маленький рай дикого острова, стоял он на краю луга, восхищенный внезапной потерей памяти о тяжести жизни и ее трудах, о темных периодах существования, когда душа изнашивает прежнюю оболочку и спит, подобно гусенице, прежде чем сверкнуть взмахом крыльев. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасностей и удач. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем, увидел себя таким, как в часы мечтаний, на склоне пустынных холмов, перед лицом вечерней зари.

Он снял ружье, лег на траву и с ужасом подумал о завтрашнем неизбежном дне: часть жизни, отданная другим...

Запах цветов кружил голову. От утомления дрожали руки и ноги, лицо горело, и розовый туман плыл в закрытых глазах.

Он не сопротивлялся. Глубокое, сонное оцепенение приласкало его и медленно погрузило в душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком. Тарт спал, а когда проснулся, была ночь и темная, звездная тишина.

III. Блемер находит Тарта

Тарт сидел у огня, поджав ноги, прислушиваясь и размышляя. Он не спал ночь: тяжелая задумчивая тревога собирала морщины на его лице, а руки, крошившие табак, двигались непонятно, рассеянно подбирая прыгающие из – под ножа срезки. Уверенность в том, что никто не подсматривает, придавала лицу Тарта ту особенную, непринужденную выразительность, где каждый мускул и взгляд человека рассказывает его настроение так же бегло, как четко переписанное письмо. Огонь вяло потрескивал, шипел, змеился в гладкой стали ружья и бледным жаром падал в глаза Тарта. Кругом, в духоте полдня, дремал лес; глухой шум невидимой жизни трепетал в нем, бередя душу странным очарованием безлюдья, гигантской силы и тишины.

Матрос встал, ссыпал нарезанный табак в маленькую жестяную коробку, поднял ружье и долго молча стоял так, слушая голоса птиц. Иногда, на мгновение, прихотливый узор листвы вспыхивал перед ним обманчивым силуэтом зверя, и рука Тарта бессознательно вздрагивала, колебля дуло ружья. Зеленые свет и мрак чередовались в глубине леса. Мысль тревожно летела к ним, отыскивая живое молчаливое существо с глазами из черной влаги, рогатое и стройное.

В певучем, томительном забытии окружал человека лес, насыщенный болотными испарениями, запахом гниющих растений и дикой, сказочной красотой. То ближе, то дальше трещал кустарник, невиданные, неизвестные существа двигались там, прислушиваясь друг к другу, и образы их, созданные воображением Тарта, принимали чудовищные, волнующие размеры или, наоборот, бледнели и съеживались, когда умолкал треск.

Резкий шарахнувшийся крик птицы вывел его из глубокого, торжественного оцепенения. Он поднял глаза вверх, но тотчас же инстинктивно опустил их, взвел курок и насторожился, раздвигая взглядом светлую рябь листвы.

Сначала было трудно определить, что это: маленькая застывшая тень или пятно шерсти; чье-то пытлиное, осторожное присутствие сказывалось не дальше, как в десяти шагах и путало мысли, убивая все, кроме жестокого, огненного желания встретить глаза зверя. Тарт тихо шагнул вперед и хотел крикнуть, чтобы животное выскочило из кустов, но вдруг, в самой глубине зеленой сети растений, поймал черный блеск глаза, выпрямился и вздрогнул от неожиданности. Штуцер нервно заколебался в его руках, дыхание стало глуше, и два-три мгновения Тарт не решался выстрелить – столько безграничного удивленья, наивности и любопытства сверкало в маленьком блестящем зрачке.

Глаз продолжал рассматривать человека, зашевелился, придвинулся ближе, к нему присоединился другой, и жадный, требовательный взгляд их стал надоедать Тарту. Казалось, его спрашивали: кто ты? Он поднял ружье, прицелился и опустил руку одновременно с запыхавшимся криком шумно обрадованного человека:

– Тарт, сто чертей, здравствуй!

С тяжелым холодом в сердце Тарт повернулся к матросу. В кустах бешено затрещало, испуганно мелькнули и скрылись низкие, сильно закрученные рога. По щекам Блемера градом катил пот. Глаза, покрасневшие от утомления и жары, тревожно ошупывали лицо Тарта, а полные губы морщились, удерживая смех. Он снял фуражку, вытер рукавом блузы вспотевший лоб и заорал снова всей ширью здоровеннейших морских легких:

– И ты мог заблудиться, чучело! Три мили длины и три ширины! Это дно от стакана, а не остров. Конечно, есть острова, где можно ходить порядочным людям. Цейлон, например, Зеландия, а не эта, с позволения сказать, корзина травы! Вообще мы решили, что ты съеден орангутангом или повесился. Но я искренне, дружище, чертовски рад, что это не так!

Он схватил руку Тарта и стал ворочать ее, ломая пальцы. Тарт пытливо смотрел на Блемера. Конечно, этот выдаст его – думать иначе было бы страшно легкомысленно. Прост и глуп, добр и жесток. Ко всему этому болтлив, не прочь выслужиться. И он уже смотрит на него,

Тарта, с видом собственника, облизывается и мысленно потирает руки, предвкушая пущенную сквозь зубы похвалу капитана.

Матрос снял ружье, облегченно повел плечами и безудержно заговорил снова, ободряя себя. Молчаливая неподвижность Тарта смущала его. Он громко болтал, не решаясь сказать прямо: «Пойдем!» – сбивался, потел и в десятый раз принимался рассказывать о тревоге, общем недоумении и поисках. Все неувереннее звучал его голос, и все рассеянное слушал его Тарт, то улыбаясь, то хмурясь. Казалось, что был он здесь и не здесь, свой знакомый и в то же время чужой, замкнутый и враждебный.

– Превратились мы в настоящих собак, – захлебывался Блемер. – Чувствую я, что смок, как яблоко в сиропе. Уйти без тебя мы, понятное дело, не могли, нам приказали отыскать тебя мертвого или живого, вырыть из-под земли, вырезать из брюха пантеры, поймать в воздухе... Кок по ошибке вместо виски хватил уксусной эссенции, лежит и стонет, а завтра выдача жалования настоящим золотом за четыре месяца! Сильвестр целится на мой кошелек, я должен ему с Гонконга четырнадцать кругляков, но пусть он сперва их выиграет, черт возьми! Кто, как не я, отдал ему в макао две совсем новенькие суконные блузы! А ты, Тарт, знаешь... вообще говорят... только ты, пожалуйста, не сердись... верно это или нет?

– Что? – сказал Тарт, ворочая шомполом в дуле ружья.

– Да вот... ну, не притворяйся, пожалуйста... Только если это неверно – все равно...

Блемер понизил голос, и лицо его выразило пугливое уважение. Тарт возился с ружьем; достав пыж, он медленно перевернул штуцер прикладом вверх, и на землю из ствола выкатились маленькие, блестящие картечины.

Блемер нетерпеливо ждал и, когда смуглая рука Тарта начала забивать пулю, звонко ударяя шомполом в ее невидимую поверхность, заметил:

– Ты испортил боевой заряд, к тому же какая теперь охота? Пора обедать.

Тарт вынул шомпол и поднял усталые, ввалившиеся глаза, но Блемер не различил в них волнения непоколебимой решимости. Ему казалось, что Тарт хочет поговорить с ним, и он, вздыхая, ждал удовлетворительного ответа. Но Тарт, по-видимому, не торопился.

Блемер сказал:

– Так вот... Ну, как – это правда?

– Что правда? – вдруг закричал Тарт, и глаза его вспыхнули такой злобой, что матрос бессознательно отступил назад. – Что еще болтают там обо мне ваши косноязычные тюлени? Что? Ну!

– Тарт, что с тобой? Ничего, клянусь честью, ей-богу, ничего! – заторопился матрос, бледнея от неожиданности, – просто... просто говорят, что ты...

– Ну что же, Блемер, – проговорил Тарт, сдерживаясь и глубоко вздыхая. – В чем дело?

– Да вот... – Блемер развел руками и с усилием освободил голос. – Что ты знаешь заговоры и... это... видел дьявола... понимаешь? Оттого, говорят, ты всегда и молчишь, ну... А я думаю – неправда, я сам своими глазами видел у тебя церковный молитвенник.

Матрос взволнованно замолчал; он сам верил этому. Живая тишина леса томительно напряглась; Блемеру вдруг сделалось безотчетно жутко, как будто все зеленое и дикое превратилось в слух, шепчется и глядит на него тысячами воздушных глаз.

Тарт сморщился; досадливая, но мягкая улыбка изменила его лицо.

– Блемер, – сказал он, – ступай обедать. Я сыт, и, кроме того, мне немного не по себе.

– Как, – удивился Блемер, – тебя ждут, понимаешь?

– Я приду после.

– После?

– Ну да, сейчас мне идти не хочется.

Матрос нерешительно рассмеялся; он не понимал Тарта.

– Блемер, – вдруг быстро и решительно заговорил Тарт, смотря в сторону. – Ступай и скажи всем, что я назад не приду. Понял? Так и скажи: Тарт остался на острове. Он не хочет более ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу. Скажи так: я уговаривал его, просил, грозил, все было напрасно. Скажи, что Тарт поклялся тебя застрелить, если ты не оставишь его в покое.

Тарт перевел дыхание, поправил кожаный пояс и быстро мельком скользнул глазами в лицо матроса. Он видел, как вздулись жилы на висках Блемера, как правая рука его, сделав неопределенное движение, затеребила воротник блузы, а глаза, ставшие растерянными и круглыми, блуждали, не находя ответа. Наступило молчание.

– Ты шутишь, – застывшим голосом выдавил Блемер, – охота тебе говорить глупости. Кстати, если мы двинемся теперь же, то можем захватить на берегу наших, вдвоем трудно грести.

– Блемер, – Тарт покраснел от досады и даже топнул ногой. – Блемер, возвращайся один. Я не уйду. Это не шутка, тебе пора бы уж знать меня. Так пойди и скажи: люди перестали существовать для Тарта. Он искренно извиняется перед ними, но решил пожить один. Понял?

Матрос перестал дышать и любопытными, испуганными глазами нащупывал тень улыбки в сосредоточенном лице Тарта. Сошел с ума! Говорят, в здешних болотах есть такие цветы, что к ним не следует прикасаться. А Тарт их наверное рвал – он такой... Вот чудо!

– Прощай, – сказал Тарт. – Увидишь наших, поклонись им.

Он коротко вздохнул, взял штучер наперевес и стал удаляться. Блемер смотрел на его раскачивающуюся фигуру и все еще не верил, но, когда Тарт, согнувшись, нырнул в пеструю зелень опушки, – матрос не выдержал. Задохнувшись от внезапного гнева и страха упустить беглеца, Блемер перебежал поляну, на ходу взвел курок и крикнул в ту сторону, где гнулись и трещали кусты:

– Я убью тебя! Эй! Стой!

Голос его беспомощно утонул в зеленой глуши. Он подождал секунду и вдруг, мстительно торопясь, выстрелил. Пуля протяжно свистнула, фыркнув раздробленными по пути листьями. Птицы умолкли; гнетущая тишина охватила часть леса.

– Стой! – снова заорал Блемер, бросаясь вдогонку. – Каналья! Дезертир!

Спотыкаясь, взволнованно размахивая ружьем, он пробежал с десятков шагов, снова увидел Тарта и почувствовал, что возбуждение его вдруг упало, – Тарт целился ему в грудь, держа палец на спуске.

Инстинктивно, защищаясь от выстрела, матрос отступил назад и, медленно двигая руками, приложился сам. Волнение мешало ему, он не сразу отыскал мушку, злобно выругался и замер, ожидая выстрела. Тарт поднял голову. Блемер внутренне подался назад, вспотел, нажал спуск, и в тот же момент ответный выстрел Тарта пробил его насквозь, как игла холст.

То, что было Блемером, село, потом вытянулось, раскинуло ноги и замерло. Воздух хрипел в его простреленных легких, обнаженная голова вздрагивала, стараясь подняться и взглядом защитить себя от нового выстрела. Тарт, болезненно улыбаясь, присел возле матроса и вытащил из его стиснутых пальцев судорожно вырванную траву. Далее он не знал, что делать, и стоял на коленях, сраженный молчаливой тревогой.

Блемер повернул голову, глотая подступающую кровь, и выругался. Тарт казался ему страшным чудовищем, чуть ли не людоедом. Он посмотрел вверх и, увидев жаркую синеву неба, вспомнил о смерти.

– Подлец ты, подлец! – застонал Блемер. – За что?

– Перестань болтать глупости, – возразил Тарт, отдирая подол блузы. – Ты охотился за мной, как за зверем, но звери научились стрелять. Не ты, так я лежал бы теперь, это было необходимо.

Он свернул импровизированный бинт, расстегнул куртку Блемера и попытался удержать кровь. Липкая горячая жидкость просачивалась сквозь пальцы, и было слышно, как стучит слабое от испуга сердце. Тарт нажал сильнее, Блемер беспокойно вздрогнул и сморщился.

– Адская боль, – процедил он, хрипло дыша. – Брось, ничего не выйдет. Дыра насквозь, и я скоро подохну. Ты смеешься, сволочь, убийца!..

– Я не смеюсь, – с серьезной улыбкой возразил Тарт. – А мне тяжело. Прости мою невольную пулю.

Не отрываясь, смотрел он в осунувшееся лицо матроса. Вокруг глаз легли синеватые тени; широкий, давно небритый подбородок упрямо торчал вверх.

– Трава сырая, – простонал Блемер, бессильно двигаясь телом, – я умру, понимаешь ли ты? Зачем?

Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли.

– Блемер, – сказал Тарт, – ты шел в этом лесу, отыскивая меня. Твое желание исполнилось. Но если я не хотел идти с тобой, как мог ты подумать, что силой можно сломить силу без риска проиграть свою собственную карту?

– К черту! – застонал Блемер, отплевывая розовую слюну. – Ты просто изменник и негодяй! – Он смолк, но скоро застонал снова и так громко, что Тарт вздрогнул. Раненый сделал последнее отчаянное усилие поднять голову; глаза его подернулись влагой смерти, и был он похож на рыжего раздавленного муравья.

– Ты очень мучаешься? – спросил Тарт.

– Мучаюсь ли я? Ого – го – го! – закричал Блемер. – Тарт, ты дезертир и мерзавец, но вспомни, умоляю тебя, что на «Авроре» есть госпиталь!.. Сбегай туда... скажи, что я умираю!..

Тарт отрицательно покачал головой. Блемер вытягивался, то опираясь головой в землю и размахивая руками, то снова припадая спиной к влажной земле. По внезапно исхудавшему, тусклому лицу его пробежала быстрая судорога. Он ругался. Сначала тихое, потом громкое бормотанье вылилось сложным арсеналом отвратительных бранных фраз. Тарт смотрел, ждал и, когда глаза Блемера задернулись пленкой, – стал заряжать ружье.

– Потерпи еще малость, Блемер, – сказал он. – Сейчас все кончится.

Блемер не отвечал. Сквозь до крови закусенную губу матроса Тарт чувствовал легион криков, скованных бешенством и страданием. Он отошел в сторону, чтобы случайно Блемер не угадал его мысли, прицелился в затылок и выстрелил.

Раненый затрепетал, вздохнул и затих.

Теперь он был мертв. Сильное, цветущее тело его обступила маленькая зеленая армия лесной травы и, колыхаясь, заглянула в лицо.

IV. «Гарнаш, улица Петуха»

На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинового дерева, стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом. Она не запирается; это международная почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу европейскую.

Клипер готовился к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат полз из воды, таща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тиной и раковинами. Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили по накаленной смоле палубы, закрепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант клипера, выскочив на

песок, подошел к бочке. Откинув брезент, он вынул из нее несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.

Потом все уехали и скоро превратились в маленькое, черное пятно, машущее крошечными веслами. Клипер преображался. От реи до реи, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. Корабль стал похожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь – напряжение и полет, нетерпение и сдержанное усилие.

Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулем полдневную бледную от жары синеву рейда. Теперь оно походило на человека, повернувшегося спиной к случайному, покидаемому ночлегу. Пенистая, ровная линия тянулась за кормой – клипер взял ход.

Его контуры становились меньше, воздушнее и светлее. Двигался он, как низко летящий альбатрос, слегка накренив стройную белизну очертаний. А за ним с берега цветущего острова следил человек – Тарт.

Он равнодушно ждал исчезновения клипера. Корабль увозил с собой земляков, привычное однообразие дисциплины, грошовое жалованье и более ничего. Все остальное было при нем. Он мог ходить как угодно, двигаться как угодно, есть и пить в любое время, делать, что хочется, и не заботиться ни о чем. Он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина», не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего.

Тарт смотрел вслед уходящему клиперу, ни капли не сомневаясь в том, что именно его считают убийцей Блемера. Почему прекратили поиски? Почему не более как через шесть дней после ухода Тарта клипер направился в Австралию? Может быть, решили, что он мертв? Но в глазах экипажа остров был не настолько велик, чтобы потерять надежду отыскать человека или хотя бы его кости. Поведение «Авроры» немного раздражало Тарта; он чувствовал себя лично обиженным. Человек крайне самолюбивый, бесстрашный и стремительный, он привык, чтобы с ним и его поступками враги считались так же, как с неприятелем на войне. Но ведь не бежит же от него клипер, в самом деле!

Он вспомнил свое убежище – скалистый овраг, с гладким, как паркет, дном и кровлей из цветущих кустов. Ничего нет удивительного, что клипер ушел ни с чем. В глазах их Тарт мог только утонуть; к тому же – кто особенно дорожил жизнью Блемера? На клипере сто матросов; двумя больше, двумя меньше – не все ли равно? Время горячее, китайские пираты выются по архипелагу, как осы. Военное судно, несущее разведочную службу, не может долго оставаться в бездействии.

Тарт медленно шел вдоль берега, опустив голову. Собственное его положение казалось ему ясным до чрезвычайности: потянет в другое место – он будет караулить, высматривая проходящих купцов. И ночной сигнальный костер даст ему короткий приют на чужой палубе. Куда он поедет, зачем и ради чего?

Но он не думал об этом. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо теплым муссоном и жаркой влагой истомленных зноем растений. Это был отчаянный экстаз игрока, бросившего на карту все и получившего больше ставки. Выигравший не думает о том, на что он употребит деньги, он далек от всяких расчетов, музыка золота наполняет его с ног и до головы дразнящим вихрем возможностей, прекрасных в неосуществимости своей желаний и бешеным стуком сердца. Может быть, не дальше, как завтра, судьба отнимет все, выигранное сегодня, но ведь этого еще нет?

Да здравствует прекрасная неизвестность!

Медленно, повинувшись любопытству, смешанному с предчувствием, Тарт откинул брезент и, став на камни, положенные под основание бочки, открыл ее. На дне серели пакеты. Их было много, штук двадцать, и Тарт тщательно пересмотрел все.

Ему доставляло странное удовольствие держать в руках вещественные следы ушедших людей, мысленно говорить с ними, в то время, когда они даже и не подозревают этого. Стоит захотеть, и он узнает их мысли, будет возражать им, без риска быть пойманным, и они не услышат его. Матросские письма особенно заинтересовали Тарта. Он пристально рассматривал неуклюжие, косые буквы, смутно догадываясь, что здесь, может быть, написано и о нем. Взволнованный этим предположением, Тарт бережно отложил несколько конвертов, на которых были надписаны имена местностей, близких к месту его рождения. Он искал самого тесного, кровного земляка, рылся дрожащими от нетерпения пальцами, раскладывая по песку серые четырехугольники, и вдруг прочел:

«Гарнаш, улица Петуха».

Гарнаш! Не далее как в десяти милях от этого городка родился Тарт. Он помнит еще возы с зеленью, пыльную дорогу, по которой бегал мальчишкой, и держит пари, что пишет не кто иной, как толстяк Риль!

Да, вот его имя, написанное маленькими печатными буквами. Тарт вынул нож и разрезал толстую бумагу пакета. Риль писал много, четыре больших листа сплошь пестрели каракулями, сообщая подробности плавания, события, свидетелем которых был Риль, и длинные, неуклюжие нежности, адресованные жене. Тарт торопливо разбирал строки. Пальцы его дрожали все сильнее, лицо потускнело; взволнованный, с блестящим остановившимся взглядом, он бросил бумагу и инстинктивно схватил ружье.

Кругом было по-прежнему пусто, легкий прибой шевелил маленькие, круглые гольши и тихо шумел засохшими водорослями. В голове, как отпечатанные, стояли строки письма, скомканного и брошенного рукой Тарта: «...если бы он провалился, туда ему и дорога. А наши думают, что он жив. Мы вернемся через четыре дня, за это время должны его поймать непременно, потому что он будет ходить свободно. Шестерым с одним справиться – что плюнуть. Толкуют, прости меня, господи, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно».

– Надо уйти! – сказал Тарт, с трудом возвращая самообладание. Небывалым, невозможным казалось ему, только что прочитанное. Все вдруг изменило окраску, притаилось и замерло, как молчаливая, испуганная толпа. Солнце потеряло свой зной, ноги отяжелели, и Тарт двигался медленно, напряженно, словно окаменев в припадке безвыходного, глухого гнева. Мысль утратила гибкость, сосредоточиваясь на пристальном, болезненном ощущении невидимых, враждебных людей. И немое отвращение к тайной опасности подымалось со дна души, вместе с нестерпимым желанием открытого, решительного исхода.

– Шесть? – сказал Тарт, останавливаясь. – Так вас шесть, да?

Кровь бросилась ему в голову и ослепила. Почти не сознавая, что он делает, он вызывающе поднял штурцер и нажал спуск. Выстрел пронесся в тишине дробным эхом, и тотчас Тарт зарядил разряженный, еще дымящийся ствол, быстро, не делая ни одного лишнего движения.

По-прежнему царствовала тишина, жуткая, полуденная тишина безлюдного острова. Матрос прислушался, молчание раздражало его. Он потряс кулаком и разразился градом язвительных оскорблений. Обессиленный припадком тяжелой злобы, он шел вперед, ломая кусты, сбивая ударом приклада плотные, сочные листья. Сознавая, что все пути отрезаны, что выстрел кем-нибудь да услышан, Тарт чувствовал злобное, веселое равнодушие и огромную силу дерзости. Уверенность возвращалась к нему по мере того, как шли минуты, и зеленый хоровод леса тянулся выше, одевая пахучим сумраком лицо Тарта. Он шел, а сзади, догоняя его, бежали шестеро, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к неясному шороху движений затравленного человека.

– Тарт! – задыхаясь от бега, крикнул на ходу высокий черноволосый матрос. – Тарт, подожди малость, эй!

И за ним повторяли все жадными, требовательными голосами:

– Тарт!

– Эй, Тарт!

– Тарт! Тарт!

Тарт обернулся почти с облегчением, с радостью воина, отражающего первый удар. И тотчас остановились все.

– Мы ищем тебя, – сказал черноволосый, – да это ведь ты и есть, а? Не так ли? Здравствуй, приятель. Может быть, отпуск твой кончился, и ты пойдешь с нами?

– Завтра, – сказал Тарт, вертя прикладом. – Вы не нужны мне. И я зачем я вам? Оставьте меня, гончие. Какая вам польза от того, что я буду на клипере? Решительно никакой. Я хочу жить здесь, и баста! Этим сказано все. Мне нечего больше говорить с вами.

– Тарт! – испуганно крикнул худенький, голубоглазый крестьянин. – Ты погиб. Тебе, я вижу, все равно, ты отчаянный человек. А мы служим родине! Нам приказано разыскать тебя!

– Какое дело мне до твоей родины, – презрительно сказал Тарт. – Ты, молокосос, растяпа, может быть, скажешь, что это и моя родина? Я три года болтался на вашей плавучей скорлупе. Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов, подобных тебе? Каждый за себя, братец!

– Тарт, – сказал третий матрос, с круглым, тупым лицом, – дело ясное, не сопротивляйся. Мы можем ведь и убить тебя, если...

Он не договорил. Одновременно с клубком дыма тело его свалилось в кусты и закачалось на упругих ветвях, разбросав ноги. Тарт снова прицелился, невольное движение растерянности со стороны матросов обеспечило ему новый удачный выстрел... Черноволосый матрос опустился на четвереньки и судорожно открыл рот, глотая воздух.

И все потемнело в глазах Тарта.

Спокойно встретил он ответные выстрелы, пистолет дрогнул в его руке, пробитый насквозь, и выпал. Другою рукой Тарт поднял его и выстрелил в чье-то белое, перекошенное страхом лицо.

Падая, он мучительно долго не мог сообразить, почему сверкают еще красные огоньки выстрелов и новая тупая боль удар за ударом бьет тело, лежащее навзничь. И все перешло в сон. Сверкнули тонкие водопады; розовый гранит, блестя влагой, отразил их падение; бархатная прелесть луга протянулась к черным корням раскаленных, как маленькие горны, деревьев – и стремительная тишина закрыла глаза того, кто был – Тарт.

Пролив Бурь

I

В полдень, как и всегда, Матиссен Пэд удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг о друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца.

С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка: он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела, любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей, этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек.

Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только «Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи – песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле нагретыми спиртными парами, Пэд приходил в неистовое, возбужденное состояние, близкое к опьянению.

Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно принадлежало частной акционерной компании и называлось «Регина»; Пэд, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем «Фитиль на порохе».

Жгучий вар солнца кипятил землю, бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым, сухим блеском. Пэд растегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, т. е. опорожнил бутылку, держа ее дном вверх.

Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, сдобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление; его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго: до ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоянных на имбирных семечках.

Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посуды, Пэд почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны, небо роняло на голову горячие плиты, каждый удар их звенел в ушах подобно большому гонгу; невидимые пружины начали разворачиваться в мозгу, пылавшем от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты; далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэд, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти.

Почти пьяный, Пэд одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сну. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжащую ноту.

Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, старик повернул багровое мохнатое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер, вился дымок, нежный, как

голубая вуаль; грязный борт шхуны пестрел вывешенным для просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря.

Веселый, пошатывающийся, распаренный, как хмель в кадке, Пэд тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления: воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий, немой мрак потопил все.

Пэд тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара.

«Плохие игрушки!» – сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные, мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэд сочно хрипел, и это были последние пары. Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра: лицо Пэда было черно, как чугун, даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей.

– Отчалил! – вскричал длинноволосый Родэк, суетясь около Пэда. – Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги. Что, не поднять? Ну, говорил же я, что в нем, по крайней мере, десять пудов!

– Родэк, – сказал Дженнер, взволнованно почесывая за ухом, – поди принеси две палки и ведро воды. Может, он жив еще. Если же действительно капитан отчалил – мы его донесем на палках до катера.

– Как это не вовремя, – проворчал Сигби. – Назавтра готовились плыть. Я недоволен. Потому что ребята передерутся. И это всегда так, – закончил он, с яростью топнув ногой, – когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиваться по способу, назначенному самим чертом: сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку!

II

– Аян, мальчик, – сказал кок, проходя мимо камбуза, – тебе следовало бы тоже там быть: все разгорячены, и теперь держи ухо востро. Полезно слушать, что говорят ребята, это может относиться ведь и к тебе.

Аян улыбнулся.

– Мое время еще не наступило, – тихо проговорил он, раскачивая руками ванты и следя, как выбленки, вздрагивая от сотрясения, успокаиваются под саллингом. – Я подожду.

– Положим, – сказал кок, хлопая по плечу юношу, – ты не так уж зелен, красивый мошенник, чтобы быть здесь совсем в загоне. Ступай, сокровище палача, в кубрик, там все. Я тоже направляюсь туда по одному делу, которое, откровенно говоря, ставит меня в тупик. Скажи, Ай, видано ли, чтобы от кока требовали знать бухгалтерию? С меня требуют хозяйственный отчет – вещь неслыханная! Это позор, Аян, для настоящих грабителей и так же мелко, как сухой берег. Когда я путался с Гарлеем Рупором (он отчалил шесть лет назад, простреленный картечью навывлет) – не было ничего подобного: каждый, кто хотел, шел в трюм, где, бывало, десятками стояли хорошие фермерские быки, разряжал револьвер в любое животное и брал тот кусок, который ему нравился. Иди, Ай, ведь это же, в самом деле, будет любопытно!

– Пойдем, – равнодушно сказал Аян, – но ты знаешь, я не люблю шума.

– А ты на них цыкни, – насмешливо возразил повар. – Вот и все.

Была ночь, океан тихо ворочался у бортов, темное от туч небо казалось низким, как потолок погреба. Повар и Аян подошли к люку, светлому от горящих внизу свеч; его полукруглая пасть извергала туман табачного дыма, выкрики и душную теплоту людской массы.

Когда оба спустились, глазам их представилась следующая картина:

На верхних и нижних койках, болтая ногами, покуривая и смеясь, сидела команда «Фитиля» – тридцать шесть хищных морских птиц. Согласно торжественности момента, многие сменили брезентовые бушлаки на шелковые щегольские блузы. Кой-кто побрился, некоторые, в знак траура, обмотали левую руку у кисти черной материей. В углу, у бочки с водой,

на чистом столе громоздилось пока еще нетронутое угощение: масса булок, окорока, белые сухари и небольшой мешочек с изюмом.

Посредине кубрика, на длинном обеденном столе, покрытом ковром, лежал капитан Пэд. Упорно не закрывавшиеся глаза его были обращены к потолку, словно там, в просмоленных пазах, скрывалось объяснение столь неожиданной смерти. Лицо стало еще чернее, распухло, лишилось всякого выражения. Труп был одет в парадный морской мундир, с галунами и блестящими пуговицами; прямая американская сабля, добытая с китоловного судна, лежала между ног Пэда. Вспухшие кисти рук скрещивались на высокой груди.

Но смерть, столько раз хлопавшая по плечу всех присутствовавших, производила и теперь слабое впечатление: держались развязно, спорили, бились о заклад – пропахнет ли Пэд к утру или удержится. Смешанное настроение кабака, кладбища и подозрительного общества отозвалось в сердце Аяна неожиданным возбуждением: предчувствие важных событий наполнило его молодые глаза беспокойным блеском зрачков рыси, вышедшей на охоту. Он стал в углу, улыбаясь своей странной улыбкой, похожей на неопределенный жест человека, колеблющегося между приветствием и угрозой.

Едва Аян занял свое место, как на койку взгромоздился Редок, правая рука Пэда; теперь просто рука, потому что туловище отчалило. Квадратное, надменное лицо Реджа без устали скользило глазами по лицам присутствующих. Наступила относительная тишина.

– Ребята! – сказал Редж. – Случилось то, что случилось. Вот, – он протянул руку к голове трупа, – вы видите. Пэд страшно пил, как вам всем известно и без меня, но кто посмел бы его упрекнуть в этом?

– Хорошо сказано, – подхватил сосредоточенный бас Дженнера. – Валяйте, лейтенант, дальше, и да поможет вам небо благополучно бросить оба якоря в гавани.

– Всякому будет свое время упражняться в красноречии, – перебил Редж, с неудовольствием взглянув на матроса. – Ребята! Что толковать – мы не какое-нибудь военное судно, где выдают чарку виски в полдень и перед ужином. Меня разбирает смех, когда я об этом думаю. Да, Пэд твердо помнил свою позицию, и память погубила его. Сколько у меня в бороде волос, столько раз брал я его за рукав, когда он, нагрузив пазуху и карманы, шел на этот роковой холм. Он ругался. Он страшно ругался и твердил, что должен напиться хоть раз в день. Исправить этот несчастный случай – то же, что подковать на бегу лошадь. Мы здесь бессильны, и, если бы могли плакать, труп Пэда плавал бы теперь в наших слезах, как тростинка в большой реке. Благодаря тебе, Пэд, – повысив голос, обратился Редж к трупу, – из шершавых волчат выросли настоящие волки. Аминь.

Он смолк и трагически поднял брови, стараясь уловить, какое впечатление произвела его речь. Раздались сдержанные рукоплескания.

– Теперь, – сказал Редж, – мы, как живые, должны озаботиться насущными, неотложными делами. Нужно привести все в порядок, чтобы тот, кого вы выберете капитаном, – здесь Редок приостановился, но в тот же момент лица всех сделались непроницаемыми, а некоторые даже потупились, – чтобы новый начальник видел все ясно, как на стекле. Сейчас выступит повар Сэт Алль и даст отчет в имеющемся продовольствии. Затем я – в общем приходе и расходе, и, наконец, штурман Гарвей приведет в известность всех относительно оружия, корабельных материалов и остального инвентаря. Потом, не откладывая в долгий ящик, произведем выборы капитана, так как вы знаете, что отсутствие дисциплины на судне пагубнее, чем присутствие женщины. Я кончил.

Загорелый, шишковатый лоб Реджа покрылся испариной. Он перевел дух и отошел в сторону, а на его место стал повар. Манеры Сэта явно показывали глубокое презрение к роли, в которой ему приходилось выступить: он демонстративно покачивался и ежеминутно засовывал в карманы руки, снова извлекая их, когда требовалось сделать какой-нибудь небрежно-шикарный жест.

– Ну, что же, – начал повар, – вы, конечно, меня все хорошо знаете. К чему эта глупая комедия? Будем объясняться начистоту. Я обокрал вас, джентльмены, – в течение этих трех лет я нажил огромное состояние на пустых ящиках из-под риса и вываренных костях. Я еще и теперь продаю их акулам, из тех, что победнее, – три пенни за штуку – будь я Иродом, если не так. Только вот беда: денег не платят.

Яростный взрыв хохота сопровождал эту незамысловатую шутку. Сэт вытер усы, лукаво подмигивая натянутой физиономии Реджа, и стал внезапно серьезен, только в самой глубине его вертлявых зрачков вспыхивали насмешливые огоньки.

– Я все записал, – сказал он, доставая засаленную бумажку. – Вот слушайте: осталось у нас: галет 1-го и 2-го сорта сорок мешков, муки – шесть больших бочек, каждая, вероятно, в полтонны; соленой свинины – две бочки, кроме того, имеются два почти издохших быка... Относительно быков: пасти мне, что ли, их здесь? Я завтра пристрелю обоих. Ты что беспокоился, Сигби? Не протухнут, есть ледники и селитра. Что же еще есть у нас? Да – кофе, прес-сованные овощи...

И он тщательно, упираясь пальцем в бумажку, перечислил всю наличность провизии. Выходило, что в этой, спрятанной от чужих глаз бухте можно просидеть с месяц, не беспокоясь о том, что есть.

Сэт ретировался под дружный гул одобрений. Наступила очередь штурмана. Этот даже не потрудился встать с койки, где между ним и боцманом стояла бутылка в обществе оловянных стаканов. Аян видел из своего угла, как острое, серьезное лицо штурмана высунулось из-за пиллерса, быстро швыряя в толпу увесистые, короткие фразы, прерываемые характерным звуком жующих челюстей.

– Все благополучно, – сказал Гарвей. – Судно в исправности, не мешало бы почистить обшивку форштевня под ватерлинией: тамросло ракушек и всякой дряни. Старая течь, наконец, открыта: вода сочилась под килем, у третьего тимберса от кормы, слева. Поставили заплату. Все материалы налицо, от железных скобок до запасного кливера. Пороху хватит до следующих дождей; при желании бомбардировать луну хватило бы, по крайней мере, на месяц, и это при непрерывной канонаде. Арсенал состоит из сорока двух запасных собак, пятии шестизарядных; Когана – двадцать, Мортимера – шесть, Смита и Вессона семнадцать, Скотт – девять. Два орудия – блестящие, нежненькие, без одной царапины. Снаряды: картечи – два ящика, гранат – три, кроме того, две дюжины стальных ядер, с обшивками Леверсона. Двадцать американских топоров, два гарпуна, одиннадцать сабель, восемьдесят каталонских ножей. Винтовки: одиннадцать Кентуккийских, пять Бердана, десять Новотни, Штуцера: тридцать четыре – Пристлея, один – Джаксона, патроны в полном комплекте.

Гарвей умолк так же неожиданно, как и заговорил. Отвернувшись, он продолжал чокаться с боцманом.

Между тем шум усилился, по рукам ходили бутылки, многие стояли, прислонившись спиной к столу, на котором лежал Пэд, и, размахивая локтями, толкали покойника. Аян подошел к Гарвею.

– Штурман, – сказал он, чуть-чуть нахмурившись, – вы слышите? Голос каждого звучит совсем иначе, чем когда был жив капитан Пэд. Я чувствую тревогу. Что будет?

– Ты много стал понимать, Ай, – произнес штурман. – Молчи, ты моложе всех, не твое дело.

– Я чувствую, – повторил юноша, – что произойдут важные события. Меня никогда не обманывают предчувствия, вы увидите.

– Постой! – крикнул Родэк, приподымаясь, чтобы взглянуть на вышедшего вперед Реджа. – Он хочет сказать что-то!

Аян повернулся. Редж, тоже слегка пьяный, махал рукой, приглашая команду слушать. Образовался кружок, лейтенант встал у трупа, упираясь рукой в край стола. Казалось, что он схватил покойника за руку, ища поддержки.

– Эти три месяца, – почти закричал Редж, – дали нам одиннадцать тысяч наличными и две – за проданный транспорт индиго. Деньги переведены в банк «Приятелю». Есть расписки. Проверкой документов займется тот, кто будет новым начальником. Слушайте, ребята, – с новой силой закричал он, – объявите ваши симпатии! Пусть каждый назовет, кого хочет, здесь все свободны!

Разом наступила глубокая тишина, как будто вдруг опустел кубрик и в нем остался один Редж. Началось немое, но выразительное переглядывание, глаза каждого искали опоры в лицах товарищей. Не многие могли похвастаться тем, что сердца их забились в этот момент сильнее, большинство знало, что их имена останутся произнесенными. Кой-где в углах кубрика блеснули кривые улыбки интригов, сдержанный шепот вырос и полз со всех сторон, как первое пробуждение ночного прилива.

Аян молча стоял у койки; его озаренные изнутри глаза отражали общее сдержанное возбуждение, заражавшее желанием неожиданно возвысить голос и произнести неизвестное ему самому слово, целую речь, после которой все стало бы ясно, как на ладони. Между тем, спроси его кто-нибудь в это мгновение: «Ай, кто достойнейший?» – он ответил бы обычной улыбкой, жуткой в своей замкнутости. Наконец боцман сказал:

– Штурман Гарвей, ребята, и никто больше!

При полном молчании матросов штурман пожал плечами, как бы удивляясь столь длинной паузе, но, в общем, остался спокоен. Боцман продолжал:

– Я вам говорю, не кобеньтесь. Гарвей знает все, все видел, все испытал. Он строг, верно, но за порядок при нем я ручаюсь своей кровью. Ну, что же, умерли вы? Берите Гарвея, и конечно! Все будет как следует!

– Гарвей! Гарвей! – закричали некоторые, делая вид, что с ними кричат все остальные. – Он! Он!

Сторонники штурмана тесным кольцом окружили своего кандидата, остальные стали около Реджа. Старики, пыхая трубками и сплевывая, доставали револьверы: опытность говорила в них, старый инстинкт хищников, предусмотрительных даже во сне. Раздались крики:

- Долой барина Гарвея!
- Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!
- Выбирайте! За бортом много воды!
- Спросите-ка сперва Пэда!
- Полдюжины огородных чучел против настоящего моряка! Браво, Гарвей!
- Лижите пятки у Реджа!
- Долой Гарвея!
- Плохое вы дело затеяли там, у бочки! Гарвей зажмет вам рты быстрее Пэда.
- Редж! Хотим Реджа! Редж!

Кровь хлынула к бледному лицу Реджа. Он быстро поворачивался во все стороны, судорожно смеясь, когда противная сторона бросала ему ругательства. Рука Аяна бессознательно поползла к поясу, где висел нож, он весь трепетал, погруженный в головокружительную музыку угроз и бешенства.

Шум усилился, на мгновение все смешалось в одно пестрое, стонущее пятно, и снова выделились отдельные голоса:

- Редж!
- Гарвей!
- Редж!
- Гарвей!

- Долой Реджа!
- Долой Гарвея!
- Бросить их в воду! – С боцманом!
- И с сундуками!
- И с оловянными кружками!
- Подумаешь, что все мы без головы.

– Джентльмены! – орал Сигби, сам еще не решивший, кого он хочет. – Каждый из нас мог бы быть капитаном не хуже патентованных бородачей Ост-Индской компании, потому что – кто, в сущности, здесь матросы? Все более или менее знают море. Я, Дженнер и Жип – подшкиперы, Лауссон – бывший боцман флота, Энери служил лоцманом... у всех в мозгу мозоли от фордевиндов и галсов, а что касается храбрости, то, кажется, убиты все трусы! Ну, чего вам?

– Дженнер! – закричали в углу. – Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!

Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост; глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притопывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.

Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрагивали от волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающее находилось от него, по крайней мере, за милю:

- Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!

Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбородком, оглядываясь; громко захохотал Сигби – еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимой уверенностью; момент был великолепен. Боцман сказал:

- Ай, насмеши еще!

Он посмотрел на юношу, но травленный взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла невозмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.

- Повтори-ка, что ты сказал! – крикнул Редж.

– Я предлагаю, – не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, – разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!

- Дело! – сказал Сигби, грызя ногти. – Как скоро растут мальчики!

– Да, – продолжал Аян, – нехорошо, если прольется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья – по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.

Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолк. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.

– Аян, – произнес Кристоф, когда все успокоились, – через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?

– Прямо, – сказал Аян. – Море не терпит раздоров, – прибавил он, – а завтра все будет кончено.

– Ай, – сказал Сигби, – ну, ей-богу же, ты простак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»

III

К пробитию четырех склянок все выстроились на шканцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт, и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая пустынную тишину земли резкими, удлинёнными выкриками. Гарвей подошел к трупу, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, предоставляя солнцу накаливать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.

Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевирая слова. Потом рука его заслонила море, он приглашал слушать.

– Ребята, – сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки, пока море не расступилось, – Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.

– С миром! – как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.

– Мы тебя не забудем, – продолжал Гарвей. – Ты ушел от виселицы, а мы неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.

Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.

– Бу-бух! – всплескивая, сказала вода.

Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять – прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».

Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.

– Ребята, – сказал Гарвей, – не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой – есть завешание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.

Тогда расцвели самые угрюмые лица: завешание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех – он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.

В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынутое, по-видимому, из пакета.

Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.

«11 июля 18...9 года, – прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись. – Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в ссоре, поэтому завещаю:

1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску, – всем поровну и без исключения».

Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.

– Гу-у! – пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.

«Второй пункт, – сказал штурман. – Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».

Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.

– Ты будешь на них спать, Ай, – сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.

– Тише! – зашипел Редж.

Гарвей продолжал:

«Портрет, который я запечатываю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».

Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «...не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.

Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипе подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:

– Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!

Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чуждое кривым улыбка изображение женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.

Раздались возгласы:

– Э! Послушайте! Это невежливо!

– Дайте же и нам, наконец!

– Суньте-ка сюда эту бабу без лака!

– Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..

– Хо-хо!..

Гарвей протянул руки, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустертая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в лицах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен. Редок презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.

– Взгляни-ка сюда, Ай, – сказал, приосанившись, молодой Пильчер, – это лучше твоих ковров.

Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полустертых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, и заразительным смехом. Пильчер сказал:

– А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.

– Этого не может быть, – твердо сказал Аян. – Нет такой женщины.

– Почему? – вернул Сигби.

– Я не видел, – коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: – Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенько. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.

– Оставьте пустяки! – крикнул Редок, довольный, что Гарвей замолчал, и он может овладеть общим вниманием. – Кто поедет?

– Я не хочу, – сказал Дженнер после того, как молчание стало общим. – Чего ради?

Остальные переминались. Уехать во время междоусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или в лучшем случае увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:

– Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!

Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.

– Неблагодарная сволочь! – закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных. – Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызывать вас по жребью и первому отказавшемуся разmozжить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?

Это «кто» лязгнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержанные ругательства: никто не ответил вызовом – правота чувствовалась на стороне спрашивающего.

– Второй раз! – закричал взбешенный Гарвей. – Кто?

Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.

– Подле... – хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.

Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.

– Кто? – по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом. – Ай, ты?

– Я.

– Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.

– Хорошо.

– Сегодня вечером.

– Да.

– Не надо терять времени.

– Я еду, Гарвей.

IV

Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.

Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее поверхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.

Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньг чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании, последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.

Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился – безветренная тишина моря, по-видимому, обещала спокойствие, – он вел шлюпку, держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка – в проливе.

Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и килю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.

Взяв направление, Аян стал грести ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полуосвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в черной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защемиив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спугнуло мысль. Он встрепнулся; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.

Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обыкновенные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских нарвалах, скатах, отвратительных, как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он положил весла, придвинул фонарь и вынул портрет женщины.

Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все – шлюпка, весла, фонарь, ружье, спрятанное в корме, – показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе – сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с... шу-с-с... шу-с-с-с...» – загудел воздух; шлюпка, поплескивая, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.

– Почему тихо? – громко сказал он, смеясь самому себе. – Море, кричи!

Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу:

– Я еду, еду! Один!

Шлюпка придвинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:

– Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!

Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй насильника.

V

– Я тотчас вернусь, – сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним. – Подождите.

– Разве это не все равно? – возразил Аян. – Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.

Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.

– Если вы не смеетесь, – сказал он, – а просто рассеянны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас, тем лучше.

– Я плохо понимаю эти вещи, – улыбнулся Аян. – Идите, если это необходимо, но мне некогда.

Он выдержал еще один выстрел изумления отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.

Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающих по голубому фону остроконечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настежь распахнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.

Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компании, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкатулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикованные к портьеру, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.

Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения сутились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшимся доложить о нем, – не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть, удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, соображение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места; он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать – кто он такой?

Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо его пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было бы для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидел залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.

Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти. Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае, даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте; взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливались для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые

пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами; костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучнодвигающийся человек, и так они стояли два-три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены – щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.

Он двинулся почти бегом – все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комнату, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.

Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задыхаясь, с внезапно упавшим сердцем.

VI

Комната, в которую он так стремительно ворвался, с револьвером в одной руке и тяжеловесным пакетом в другой, отличалась необыкновенной жизнерадостностью. Бело-розовый полосатый штоф покрывал стены, придавая помещению сходство с внутренностью огромного чемодана; стены на солнечной стороне не было, ее заменял от пола до потолка ряд стекол в зеленых шестиугольных рамах, – это походило на разрез пчелиного сота, с той разницей, что вместо меда сочился золотой свет. Комната была полна им, он заливал все. Жирандоли с вьющимися растениями закрывали низ стеклянной стены; спутанные тропические цветы свешивались с потолка, завитки их дрожали, как маленькие невинные щупальца. В углу, над бамбуковой качалкой, раскачивался в тонком кольце хохлатый маленький попугай. Посредине – стол, окруженный пухлыми белоснежными креслами; серебряный кофейный прибор отливало солнцем.

Аян не различал ничего этого – он видел, что в рамке из света и зелени поднялось живое лицо портрета; женщина шагнула к нему, испуганная и бледная. Но в следующий же момент спокойное удивление выразилось в ее чертах: привычка владеть собой. Она стояла прямо, не шевелясь, в упор рассматривая Аяна серыми большими глазами.

– Это вы, – с усилием произнес Аян. – Я вас узнал по портрету. Там был человек, он сказал, что пойдет к вам и скажет вам про меня. Я думаю, что это предатель. Я прошел много комнат, прежде чем нашел вас.

– Спрячьте револьвер, – сказала девушка.

Он посмотрел на свою правую руку, занятую оружием, и сунул Вессон за пояс.

– Я вынул его на всякий случай, – произнес он, – мы не доверяемся тишине. Вас зовут Стелла, извините, если я ошибаюсь, но так сказал мне бритый старик, приславший что-то в этом свертке. Что там – мне неизвестно. Вот он. Может быть, я вас испугал, барышня?

Молодая девушка насмешливо посмотрела на посетителя.

– Я, может, и испугалась бы, если бы вы пришли ночью, но теперь день. Садитесь и расскажите, чему я обязана вашим стремительным посещением.

– Пэд умер, – сказал сильно смущенный Аян. Душевное равновесие было им совершенно утеряно – девушка ослепила его. Он смотрел и не мог отвести взгляда от ее лица. Она была

значительно моложе, чем на портрете; волосы пепельного оттенка, заплетенные в один пышный жгут, спускались ниже бедер. Платье, серое с голубым, плотно закрывало шею и руки; блестящие оленьи глаза под тонкими, высоко выведенными бровями казались воплощением гордости. Когда она спрашивала, спрашивало все лицо, а правая рука слегка приподымалась нетерпеливым, резким движением.

– Пэд умер, – повторил Аян. – Никто не хотел ехать, так как наступил беспорядок. Если вы ничего не знаете, я расскажу по порядку. Капитан Пэд оставил завещание и в нем просил кого-нибудь отвезти по адресу ваш портрет.

– Вы сумасшедший! – сказала Стелла, расширяя глаза. – К какому капитану мог попасть мой портрет, голубчик?

Аян вспыхнул и побледнел. Сумасшедший! В лице его пробежала судорога страдания. Но он оправился прежде, чем девушка протянула руку, как бы приглашая его успокоиться. Когда он стал говорить далее, голос его сорвался несколько раз прежде, чем он произнес дюжину слов.

– Я говорю, что было; я сам знаю не больше вашего, – тихо сказал он. – Вы не можете на меня сердиться. Я приехал и отыскал бритого старика, который, я не знаю – почему, смотрел на меня так, как будто я хватил его ножом в горло. Он передал мне вот это, оно завязано так же, как было, и указал ваш дом. Я не думаю, чтобы я сломал что-нибудь у вас в больших комнатах: я держался посередине.

– Если это мне, дайте, – удивленно произнесла Стелла. – Но я решительно ничего не понимаю.

– Вот ваш портрет. – Аян протянул маленькую овальную дощечку. – Я берег его от воды и грязи, – прибавил он.

Полунежная, полугрозная улыбка прорезала его смуглые черты. Он плохо понимал себя в эти минуты; происходящее казалось ему сном. Стелла взяла портрет.

И больше не было в ее лице тревожного внимательного недоумения. Она резко повернулась; пепельный жгут вздрогнул и захлестнул ее руку, разом опустившуюся, словно по ней ударили. Когда она снова взглянула на Аяна, лицо ее было совсем белым, губы нервно дрожали.

– Это для меня новость. – Каждое слово ее отдельно ложилось в солнечную тишину комнат. – Не смотрите на меня круглыми глазами – это не ваше дело. Надеюсь, вы поняли? Дайте сюда пакет.

Пальцы Стеллы беспомощно скользили по нему, пеньковая бечевка крепко стягивала узлы.

– Вот нож. – Аян протянул кортик с роговой ручкой.

Девушка приняла помощь без взгляда и благодарности – внимание ее было поглощено свертком. Нож казался в ее руках детской жестяной саблей, тем не менее, острое лезвие вспороло холст и веревки с быстротой молнии. Аян, охваченный любопытством, стоял рядом, думая, что его руки сделали бы то же самое, только быстрее.

Внутри был большой, темный деревянный ящик, ключ торчал в скважине и щелкнул, казалось, прежде, чем девушка схватила его. В тот же момент толстая бумажная пачка подтолкнула крышку ящика, и град пожелтевших писем разлетелся под ногами Аяна.

Аян нагнулся, подхватил несколько листов и выпрямился, желая передать их девушке, но Стелла торопливо читала первое, что попало под руку.

– Стелла, – нерешительно сказал он, – я соберу все!

Она, казалось, не слышала. Комкая, разрывая конверты, пробежала она то бисерные, женские, то неуклюжие мужские строки; почти на каждом из писем стояли разные штемпеля, как будто пишущих бросало из одного конца света в другой. Прочесть все у нее, однако, не хватило терпения; впрочем, прочитанного было вполне достаточно.

Некоторое время она стояла, опустив голову, роняя письма одно за другим в шкатулку, как будто желая освоиться с фактом, прежде чем снова поднять лицо. Неуловимые, как вечерние тени, разнообразные чувства скользили в ее глазах, устремленных на пол, усеянный остатками прошлого. Встревоженный, расстроенный не меньше ее, Аян подошел к Стелле.

– Там есть еще что-то в ящике, – совсем тихо, почти шепотом, сказал он. – Взгляните.

Не отвечая, девушка взяла шкатулку, положила ее на стол и опрокинула нетерпеливым движением, почти сейчас же раскаявшись в этом, так как, одновременно с глухим стуком дерева, скатерть вспыхнула огнем алмазного слоя, карбункулов, жемчугов и опалов. Зеленые глаза изумрудов перекатались сверху и утонули в радужном, белоснежном блеске; большинство были алмазы.

Это было последним, но уже сладким ударом, и Стелла не выдержала. Крупные, неожиданные для нее самой слезы женского восхищения брызнули из ее глаз, лицо горело румянцем. В состоянии, близком к экстазу, водила она вздрагивающими пальцами по холодным камням, как бы усиливаясь передать их равнодушному великолепию всю бесконечную нежность свою к могуществу драгоценностей и торжеству роскоши. Вздолтанная до глубины души, не меньше, чем любая женщина в первый сладкий и острый момент объятий избранника, Стелла вскрикнула; звонкий, счастливый смех ее рассыпался в комнате, стих и молчаливой улыбкой тронул лицо Аяна.

Она подняла глаза: совсем близко, четверть часа назад посторонний и подозрительный, стоял дикий, загорелый, безусый юноша. Счастливое недоумение искрилось в его темных глазах, заботливо устремленных на девушку. Теперь он любил Пэда больше, чем когда бы то ни было; умерший казался ему чем-то вроде благодетельного колдуна.

Стелла не сдерживалась. Если бы она не заговорила, ей стало бы тяжело от подавленной, непреодолимой потребности разрядиться.

– Кто был мой отец? – спросила она. – Вы должны знать Пэда – это его имя; но кто он был?

– Пэд?! – Аян отступил несколько шагов назад. – Пэд – ваш отец?!

– Как будто вы не знали этого. – Стелла погрузила руки в сокровища. – Бросим игру в прятки. Вы ехали сюда, в ваших руках был портрет моей матери. Перестаньте же лгать. Итак... Пэд?!

– Вашей матери? – повторил Аян. – Как мог знать я это? Вы оглушили меня, поверьте, я не лгал никогда в жизни. У меня в голове теперь что-то вроде лесного кустарника. Я не знал.

Глаза его встретились с серыми, надменными глазами, но он не опустил голову. Он сам искал объяснения, как будто за ним было уже право на это и камни Пэда связали их. Аян ждал.

– Вы... наивны, – помолчав, произнесла Стелла. – Теперь вы, надеюсь, знаете?

– Да, вы сказали.

Она снова повернулась к столу, там был магнит, поворачивавший ее голову. Попугай резко вскрикнул, его грубый возглас, казалось, оторвал девушку от спутанных размышлений. Решение, что осталось досказать, в сущности, немного и что это, во всяком случае, лучше, чем хоть какая-нибудь лазейка для сплетен, показалось ей дельным.

– Моя мать была танцовщицей, – сухо произнесла она, не поворачиваясь к Аяну, – танцовщицей в Рио-Жанейро; вы знаете, там разнообразное общество.

Аян кивнул головой.

– Пэд был с ней знаком. Если вы любопытны, и это недостаточно для вас ясно – спрашивайте.

– Мне нечего спрашивать.

– Надеюсь. Вы сели бы.

Аян сел. Девушка продолжала стоять, касаясь рукой стола. Раз оказав доверие, она не считала себя вправе остановиться.

– Ее звали так же, как и меня. Она вышла замуж. Дом этот – моего отчима, он чаоторговец; зовет меня дочерью. Кто Пэд?

– Пэд был капитан, – сказал Аян, погруженный в водоворот чувств, откуда ему казалось, что все почему-то обязаны знать то же, что он. – Он умер.

– Я это уже знаю.

– «Фитиль на порохе» – не торговая шхуна, – коротко усмехнулся Аян. – Мы останавливаем иногда китоловов, но с ними много возни; Пэд предпочитал почту.

Стелла выпрямилась.

– Это слишком щедро для одного дня, – сказала она, с любопытством рассматривая Аяна. – Вы... грабите?

– Мы берем самое подходящее, – помолчав, возразил Аян. – Деньги попадают не так часто, но шелковые и чайные транспорты тоже выгодны.

– Молчите! – крикнула Стелла, расхаживая по комнате. – А вооруженные суда... военные?

– Сила на их стороне, – вздохнул Аян. – Мы также теряем людей, – прибавил он, – не думайте, что все сдаются, как зайцы в силке.

– Так, значит, там, на столе... – Стелла подошла к ящику. – Вы не думаете, что они стали темнее после вами рассказанного?

– Пэд очень любил вас, – возразил Аян.

– Вы это знаете?

– Да.

– Он вам говорил обо мне?

– Ни разу.

– Почему же вы это знаете?

– Стелла, – сказал Аян, – он мог не любить вас?

Девушка улыбнулась. Перед ней, в огне солнца, такие же, как четверть часа назад, сверкали алмазы, и не были они ни темней, ни хуже. Их прошлое сторело в костре собственного их блеска.

Наконец созерцание утомило девушку, она встала перед Аяном.

– Как вас зовут?

– Ай, еще – Аян.

– Кто вы?

– Матрос.

– Аян, расскажите о вашем судне и о моем... Пэде.

VII

Сбивчивыми, спутанными словами, запинаясь друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.

Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга – упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзрачной, как простая контузия; о починке бегучего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знойный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и килевая качка, ночные сигналы,

рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, – все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажимая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва – газетный лист...

Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в грудю алмазов. Девушка подошла к столу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкающая драгоценностями, с разгоревшимся преображенным лицом.

– Все здесь, – громко сказала Стелла. – Все, о чем вы рассказали, – на мне.

Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимися от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с собой была выше его сил – он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напоминал укус.

Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.

– Мальчик, – произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостиной, среди общества, – я нравлюсь тебе?

– Я целовал портрет, – глухо сказал Аян. – Я думал, что это ты.

Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее мгновение все по-прежнему твердо стало на свое место. Она вырвалась.

Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольцо. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:

Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольцо. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:

– Уйдите сейчас же! Прочь!

Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.

Он поднял глаза, полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.

– Аян, – мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь. – Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я – нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайте образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова – вы придите. Больше я ничего не скажу вам.

И тотчас улыбка радости ответила ее словам – так было немного нужно, чтобы воспламенить порох.

– Я уже думал об этом, – тихо сказал Аян. – Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.

Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.

– О! – только сказал он.

– Идите же! Идите!

Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:

– Я – приду!

VIII

От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде маисовой лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.

Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад – тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солнце-пеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любовной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестящими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.

Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные валы с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.

Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.

Встревоженный матрос перестал грести. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что, по крайней мере, на полумилю тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность пришпоривала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был приседать, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был шторм.

Прошло несколько времени, и ветер переменял фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встряхивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянело; пароксизм ярости сотрясал пучину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, бурным ревом помешанного.

Лодку стремительно несло в сторону. Валы, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощупью. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, – ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасывало. Соленые, бьющиеся в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штормом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шлюпка приобрела легкость испуганного, травмированного человека, мечущегося во все стороны.

Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась, удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный огонь молний зажег глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шлюпку, бросил, вырвал одно весло – Аян вздрогнул.

Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.

Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шлюпки. Бороться дальше он считал бы для себя унижением, смешной попыткой обуздать стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук, привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его напротив, обезоруженный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:

– Жри! Подайись! Собака! Цепная собака!

Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорблениями, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.

– Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь. Иуда!

Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шлюпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шлюпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.

– Жри же! – с презрением повторил Аян.

Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти непрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извивы трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонился над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.

И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках – теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф двигается на него скачками, подымаясь и опускаясь.

Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударило в риф. Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и рухнула в темноту.

– Стелла! – крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним дальше – он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то – быть может, он – двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни... шум леса, мокрый песок, бессилие...

IX

Аян протер глаза в пустынной тишине утра, мокрый, хмельной и слабый от недавнего утомления. Плечи опухли, ныли; сознание бродило в тумане, словно невидимая рука все время пыталась заслонить от его взгляда тихий прибой, голубой проход бухты, где стоял «Фитиль на порохе», и яркое, живое лицо прошлых суток.

Аян встал, разулся, походил немного взад и вперед, нежа натруженные подошвы в согретом песке берега, размялся и совершенно воскрес. Невдалеке чернела залитая водой, обнажившая киль шлюпка; волнение качало ее, как будто море в раздумье остановилось над лодкой, не зная, что делать с этим неуклюжим предметом. Пролив казался спокойными ангельскими глазами изменившей жены; он стих, замер и просветлел, поглаживая серебристыми языками желтый песок, как рассудительная, степенная кошка, совершающая утренний туалет котят.

Матрос ревниво осмотрел шлюпку: дыры не было. Штуцер вместе с уцелевшим веслом валялся на дне, опутанный набухшим причалом; ствол ружья был полон песку и ила. Аян вынул патрон, промыл ствол и вывел шлюпку на глубину – он торопился; вместе с ним, ни на секунду не оставляя его, ходила по колена в воде высокая городская девушка.

Она следила за ним. Он подымал глаза и улыбался сырому, сверкающему морскому воздуху; пустота казалась ему только что опущенным, немым взглядом. Взгляд принадлежал ей; и требование, и обещанная чудесная награда были в этих оленьих, полных до краев жизнью глазах, скрытых далеким берегом. Человек, рискнувший на попытку поколебать веру Аяна, был бы убит тут же на месте, как рука расплющивает комара.

Шлюпка, точно проснувшись, закачалась под его ногами; Аян греб стоя, одним веслом. Рифы остались сзади, впереди лежал океан, слева – меловые утесы, похожие на кучки белых овец, скрывали бухту. Он плыл с ясным лицом, уверенно отгребая воду, грозившую не так давно смертью, и не было в этот момент предела силе его желания кинуться в битву душ, в продолжительные скитания, где с каждым часом и днем росло бы в его молодом сердце железо власти, а слово звучало непоколебимой песнью, с силой, удесятеренной вниманием. Он подплывал к шхуне повелителем в грабеже и удали, молодой, нетерпеливый, с душой, сожженной беззвучной музыкой, воспоминанием и надеждой.

Аян кипел; солнце кипело в небе; вскипая и расходясь, плескалась вода.

– Го-го! – крикнул матрос, когда расстояние между ними и шхуной, стоявшей на прежнем месте, сократилось до одного кабельтова. Он часто дышал, потому что гребля одним веслом – штука нелегкая, и крикнул, должно быть, слабее, чем следовало, так как никто не вышел на палубу. Аян набрал воздуха, и снова веселый, нетерпеливый крик огласил бухту:

– Эгей! Пусти трап! Свои!..

Шлюпка подошла вплотную; грязный, продырявленный старыми выстрелами борт шхуны мирно дремал; дремали мачты, штанги, сонно блестили стекла иллюминатора; ленивая, поскрипывающая тишина старого корабля дышала грустным спокойствием, одиночеством путника, отдыхающего в запущенном столетнем саду, где сломанные скамейки поросли мохом и желтый мрамор Венер тонет в кустарнике. Аян кричал:

– Эй, на шхуне! Гарвей! Сигби! Родэк! Кто-нибудь, спустите же трап! Ребята!

Тень легла на его лицо, он сказал тихо, как бы обращаясь к себе:

– Они спят. Я забыл, что парни без дела.

Взобраться на палубу при помощи обыкновенной железной кошки было для него пустяком. Он поднялся, укрепил причал шлюпки, чтобы лодку не отнесло прочь, и подошел к кубрику. У трапа он приостановился, соображая, чем удовлетворить законное любопытство товарищей, вспомнил грязную контору бритого старика, о котором говорил Стелле.

– Да, – мысленно произнес он, – я имел дело со стариком, ее не было. Старик взял портрет, я вернулся.

Заранее улыбаясь возгласам и расспросам, Аян спустился в кубрик. Сначала, в сумраке помещения, он не поверил себе, прищуриваясь и оглядываясь широко раскрытыми, встревоженными глазами, но тотчас убедился, что людей нет. Кубрик потерял жилой вид. Койки, лишенные одеял, сиротливо тянулись перед Аяном; на полу сор, веревки, тряпки, огарки свеч, пустые жестянки; исчезли мешки с имуществом, одежда, висевшая по стенам, оружие. Немая заброшенность и тоска смотрели из каждой щели, настезь раскрытых ящиков, тускло освещенного люка...

Пораженный, Аян силился понять что-нибудь и не мог. Одно-два мгновения он рассеянно потирал руки; блуждающая улыбка кривила губы. Это было мгновенное, тревожное ощущение, где нет места ни рассуждению, ни догадкам – он потерялся. Слегка испуганный, Аян вышел на палубу; по-прежнему здесь не было ни души. Он поспешил к каютам, в надежде отыскать Реджа или Гарвея, по дороге заглянул в кухню – здесь все валялось неубранное; высохшие помои пестрили пол, холодное железо плиты обожгло его руку мертвым прикосновением; разлагалось и кишело мухами мясо, тронутое жарой. Передник Сэта висел на гвоздике, как будто повар только что ушел, вернется и вкусно застучит по доске острым ножом.

Первое, что остановило Аяна, как вкопанного, и потянуло к револьверу, был труп Реджа. Мертвый лежал под бизанью и, по-видимому, начинал разлагаться, так как противный, сладкий запах шел от его лица, к которому нагнулся Аян. Шея, простреленная ружейной пулей, вспухла багровыми волдырями; левый прищуренный глаз тускло белел; пальцы, скрюченные агонией, казались вывихнутыми. Он был без шапки, полуодетый.

Аян медленно отошел, закрывая лицо. Он двигался тихо; тупая, жесткая боль росла в нем, наполняя отчаянием. Матрос прошел на корму: спуститься в каюты казалось ему риском – увидеть смерть в полном разгуле, ряды трупов, брошенных на полу. Он осмотрелся; голубая тишина бухты несколько ободрила его.

Прислушиваясь на каждом шагу, Аян оставил последнюю ступень трапа и двинулся к каюте Гарвея. Дверь не была закрыта; он тихо открыл ее, окаменел, шаря глазами, и вздрогнул от радости: с койки, как бы не узнавая его, смотрели тяжелые, стальные глаза штурмана.

– Гарвей! – шепнул юноша, подходя ближе. – Гарвей!

Штурман открыл рот и пошевелил губами. Первая попытка заговорить была неудачна. Потом, и было видно, что это стоит ему огромного напряжения, Гарвей прохрипел:

– Мальчик!.. Ай... В два слова: ушли все. Ядохну, ранен близ сердца... Собственно говоря, я был дурак... я и Редж... мы враги... но не...

Он двинул рукой, почесал подбородок об одеяло и продолжал:

– Шакалы разбежались, Аян. Я и Редж воспротивились; знаешь, в нашем ремесле поздно искать другого пристанища. И то сказать – Пэд умер... Никак не могли выбрать новую глотку... стадо!.. В тот день, что ты уехал, уже сцепились... Кристоф пошел к Пэду... его застрелил Дженнер. Я не могу рассказывать, Ай, – меня все что-то держит за горло... и стреляет в спину... Но вот... Ты поймешь все... решили делиться, подбил Сигби. Шхуна пуста, Ай... Ушли... Все ушли...

Гарвей смолк, его резкие, осунувшиеся черты выражали невероятное бешенство.

– Дай воды! – коротко сказал он.

Аян подал оловянную кружку, раненый пролил половину на одеяло; горло его подергивалось судорогой. Аян спросил:

– Когда это, Гарвей?

– Вчера вечером. Они все... соберутся... Один... к «Приятелю»... Понял?

– Да.

– Расскажи... – захрипел Гарвей. – Впрочем...

Он задохнулся, закрыл глаза и не шевелился. Аян сел, положил голову на руки; плечи и шея его тяжело вздрагивали; это были беззвучные, сухие рыдания. Гарвей, по-видимому, уснул. Усилия, сделанные им, отняли всю энергию угасающего, пробитого тела.

– Стелла, – сказал Аян тише, чем дыхание раненого. – Что дальше?

Прошло, может быть, полчаса; очнувшись, с горем в душе, он пристально рассматривал штурмана. Желание быть выслушанным, передать часть тяжести хотя бы полуживому, страдающему, наполняло его беглым огнем слов; он сказал:

– Гарвей, вы знаете, мне так же больно, как вам. Я... со мной случилось, но вы ничего не знаете... Я мог быть счастлив, Гарвей!..

Он смолк, ему ответила тишина.

– Гарвей, – сказал он, вставая, – я вам могу быть полезен. Я любил и вас также, Гарвей, но у меня не разбежались бы; это так. Я владел бы ими, как владеют стаей собак. Гарвей! Я нациплю корпии и перевяжу вашу рану; кроме того, вы хотите, вероятно, поесть. Кто ранил вас?

Он протянул руку, коснувшись плеча штурмана. Гарвей молчал. Аян потолкал его, затем нагнулся и приложил ухо к груди – все кончилось.

– Прощайте, штурман! – сказал матрос. – Теперь я один живой здесь. Прощайте!..

Поднявшись на палубу, он отыскал немного провизии – сухарей, вяленой свинины и подошел к борту. Шлюпка, качаясь, стучала кормой в шхуну; Аян спустился, но вдруг, еще не коснувшись ногами дна лодки, вспомнил что-то, торопливо вылез обратно и прошел в крюйс-камеру, где лежали бочонки с порохом.

Оставляя ее, он оставил за собой тонкий дымок фитиля.

– Ты оправдаешь свое название, – сердито, но уже владея собой, сказал он. – Порхай!..

На берегу, бросив лодку, Аян выпрямился. Дремлющий, одинокий корабль стройно чернел в лазури. Прошла минута – и небо дрогнуло от удара. Большая, взмыленная волна пришла к берегу, лизнула ноги Аяна и медленно, как кровь с побледневших щек, вернулась в родную глубь.

– Пролив обманул меня, – сказал юноша, – я спасся затем ли, чтобы повелевать трупами? Но этого быть не может.

Он засмеялся. Это был тот же странный, горловой смех жизненного упорства.

– Я приду, – сказал он, посылая улыбку северу. – Приду! У меня есть песня – моя песня.

И он тронулся к заселенным местам, напевая вполголоса:

Свет не клином сошелся на одном корабле:
Дай, хозяин, расчет!..
Кой-чему я учен в парусах и руле,
Как в звездах – звездочет!

С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат
На волне колыхали меня;
Я родня океану – он старший мой брат,
А игрушки мои – русленя!..

Он ушел.

Умирая, одинокий, он скажет те же, полные нежной веры и грусти, твердые большие слова:

– Я – приду!..

Он счастлив – не мы.

Дьявол Оранжевых Вод

*«Внимай мне, – дьявол мне сказал в полночной тишине, – внимай!
я расскажу тебе о горестной стране...»*

Э. По

Предварительный разговор

Ингер лежал в постели, кашляя более, чем следовало. Его правая рука, бессильно свешенная с кровати, изнуренно шевелила бледными пальцами, в полузакрытых глазах сверкал лихорадочный жар, а под мышкой, достаточно нагретый лампой, торчал максимальный термометр.

Этот, внушающий сострадание, вид заставил рассмеяться вошедшего в комнату сорокалетнего человека. Движения вошедшего были резки, быстры и угловаты; лицо его, бледное и широкое, казалось бы незначительным, если бы не крутой изгиб высоко поставленных, дугообразных бровей. Он был одет в просторный, мешковатый костюм черного цвета и толстые башмаки, а в правой, унизанной старинными перстнями руке держал цилиндр.

– Это я, а не доктор, – сказал вошедший, – доктора с этим поездом не было. Так что вы, милый Ингер, можете нагреть термометр в другой раз.

Ингер усиленно заморгал, краснея и шурясь.

– Слушайте, Бангкок, – сказал он, – если вы осмеливаетесь...

– Да, – перебил Бангкок, – я осмелился. Я смотрел в замочную скважину. Я увидел прежде всего свою трубку, исчезнувшую непостижимым для меня образом. Трубка эта торчала у вас в зубах. Не умея курить, вы наполнили комнату дымом, уронили огонь на простыню и прожгли дырку. Дырка эта находится сейчас под мягкой частью вашего тела. Затем вы извлекли маленькое, гнусное, дешевое зеркало и пытались любоваться своим лицом, строя величественные гримасы. Потом вы совершили подлог с термометром и, наконец, услышав скрип двери, раскинулись в позе умирающего гладиатора.

– Если я выздоровею завтра, – с отчаянием сказал Ингер, – меня отошлют в город. Мы очень любим друг друга.

– Да? – Бангкок упорно посмотрел на мальчика, чихнул и высморкался. – Это любопытно, – сказал он. – А где вы думаете жить после свадьбы?

– На Канарских или Молуккских островах.

– Настоящее дачное место, – заметил Бангкок. – Как же вы видите?

– Она подходит к окну.

– Ингер, – сказал Бангкок, – я не спрашиваю тебя о том, целуетесь вы или нет, я не спрашиваю также, съедаешь ли ты все сладкие пирожки, похищаемые для тебя твоей возлюбленной. Я спрашиваю – отдашь ли ты мне, маленький негодяй, трубку?

Ингер сунул руку под одеяло, извлек трубку и молча подал Бангоку.

– За это, – сказал он, – вы мне должны рассказать что-нибудь.

– Вот как! – заметил Бангкок. – Да, – прибавил он, как будто про себя. – Привычки бандита и Дон Жуана... далеко пойдет мальчик... Рассказать? – медленно переспросил Бангкок. – О чем же хочет слушать сын своей страны? Слушай, я расскажу тебе о перестройке здания морского училища.

– Не хочу, – сказал Ингер.

– О расширении избирательных прав низших сословий...

– Тоже.

- О законе против цыган...
- Еще бы!
- О налоге на роскошь...
- Не хочу.
- О раскопках старинного римского водопровода...

Ингер обиженно замолчал.

– Ну, – посмеиваясь, продолжал Банжок, – что-нибудь о народном быте? О психологии рыжей и пегой лошади, историю уздечки, власть чернозема и деспотизм суглинка; о предродовых болях, ткацком станке и вареном картофеле? Ты вертишь головой? Ты ничего не хочешь об этом знать?

– Да, не хочу, – свирепо отрезал Ингер.

– В такие вот хмурые осенние дни, – сказал Банжок, – и моряки любят болтнуть. Вспомнить о том, что было – приятно мне. О чем же рассказать тебе, странное существо, не интересующееся феминизмом и психологией общества? Чего ты хочешь?

– Я хочу того, что вы видели, – сказал Ингер. – О пропастях, пещерах, вулканах, циклонах, каннибалах... вы сами знаете. Помните, вы рассказывали о неграх, золоте, белой девушке и желтой лихорадке?

– Помню, – перестав улыбаться, сказал Банжок.

– Так вот, в этом же роде.

– В этом же роде! Хорошо, слушай, Ингер: я расскажу тебе о дьяволе Оранжевых Вод. Глаза Ингера блеснули жадным огнем.

– Это что-нибудь дух захватывающее? – вскричал он.

– Нет, это действительное происшествие, – сказал Банжок.

– А дьявол?

– Слушай и суди сам.

I. Встреча с дьяволом

– Это было тогда, Ингер, когда я не только еще не командовал яхтой твоего отца, но даже не был моряком по профессии. Молодой, проворный и дерзкий, я смотрел на все дела под солнцем с точки зрения удачи и любопытства.

В 1892 году ехал я из Австралии в Китай на «Кассиопее» Фица и комп. Обладая прямым характером, я на все вопросы помощника капитана заявил сразу, что билета у меня нет. Разговор этот произошел спустя сутки после отплытия «Кассиопеи». До тех пор мне удавалось увильнуть от контроля. Я ехал, разумеется, в третьем классе. Разговор произошел вечером; зная, что меня ссадят в ближайшем порту, я перестал думать об этом, отошел к борту и закурил, рассматривая звездное небо.

Пока я стоял, размышляя, украсть ли мне бриллиантовые глаза Будды в Богоре, сделаться шулером или поступить в волонтеры, – человек, склонившийся через борт на некотором от меня расстоянии, выпрямился и подошел ко мне, говоря:

– Что же нам делать?

Не отвечая, я пристально осмотрел его с головы до ног, чтобы знать, с кем имею дело. Но в этот раз мои наблюдательность и опыт дали осечку: я, как был, так и остался в недоумении относительно личности незнакомца. Он был одет в грязнейший пиджачный костюм; вместо жилетки пестрела ситцевая рубаша, на ногах были высокие сапоги, а русые, цвета подгнившей пеньки, волосы прикрывала черная фетровая шляпа. Еще следует упомянуть, что ситцевая рубашка, выпущенная поверх брюк, была подпоясана шнурком с малиновыми кистями. Исхудалое, скуластое лицо этого человека, вздернутый, усеянный веснушками, нос, редкая бороденка, усики, глубоко запавшие бесцветные глаза – производили неизгладимое впечатле-

ние. Длинные, лоснящиеся волосы его, кое-как подстриженные сзади ушей, лежали веером на воротнике пиджака. Незнакомец был высок, тощ, сутул и обладал пронзительным голосом.

– Что делать вам? – сказал я. – По всей вероятности, вам это известно лучше, чем мне. А относительно себя я придумаю что-нибудь.

– Нет, – торопливо заговорил он, жестикулируя и назойливо улыбаясь, – вы, вероятно, не поняли; я хочу сказать, что я тоже безбилетный, что мы, так сказать, товарищи. Вот я и предлагаю вам коллективно обсудить положение. Я, позвольте представиться, русский, Иван Баранов, эмигрант политический.

– Очень хорошо, – сказал я, – мое имя Бангкок, я – никто.

Он смигнул, приняв мой ответ за шутку, и рассмеялся.

– Нас высадят? – спросил, помолчав, Баранов.

– Конечно.

– Где?

– В первом порту.

Он замолчал; я не поддерживал разговор, и мы разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Я лег на товарных ящиках; у меня было спокойное, ровное и бодрое настроение; я знал, что рано или поздно жизнь попадет в мои цепкие лапы, и я выжму из нее все, что смогу. Я заснул. Меня разбудило прикосновение к голове.

– Подите к черту! – закричал спросонок.

Кто-то сел возле меня на ящик, тяжело вздохнул и окончательно разбудил меня; я поднял голову.

В глубине океана блеснул слабый утренний свет, через несколько минут должно было взойти солнце. Раздосадованный, я грубо спросил:

– Что нужно?

– Послушайте... не сердитесь, – тихо заговорил Баранов, – мне стало тяжело, страшно, я не мог спать... потребность поговорить...

Он курил папиросу. Я с изумлением посмотрел на него. Лицо Баранова подергивалось, голос срывался, руки дрожали...

– Вы больны? – спросил я.

– Нет... то есть... это странное состояние. Сейчас мне захотелось подойти к борту и прыгнуть вниз.

– Почему?

– Слушайте, – быстро заговорил он, – разве вы не чувствуете? Вы плывете куда-то на большом, чужом пароходе, по чужому морю, кругом ночь, тишина, звезды, все спят. Понимаете? Человек трагически одинок. Никому нет ни до кого дела. Каждый занят своим. Сложная, огромная, таинственная, нелепая и жестокая жизнь тянет вас – куда? Во имя чего? Для какой цели? Я это почувствовал сейчас в тишине спящего парохода. Зачем я? Кто я? Зачем жить?

Я слушал, совершенно не понимая, что нужно от меня этому человеку. Он же продолжал говорить, закуривая все новые и новые папиросы, – о человечестве, борьбе классов, идеализме, духе и материи, о религии и машинах, все в том же убийственно безнадежном тоне, и я заметил, что все его разглагольствования лишены центра, основной идеи и убеждения. Он говорил, как бы наслаждаясь звуками собственного голоса; смысл его речи можно было уложить в трех словах: уныние, недоумение, трепет. Равнодушный вначале, я слушал, изредка лишь роняя: «да», «нет», «возможно». Горячность Баранова даже рассмешила меня. Потом я испытал особый род нетерпения, выражавшегося в желании свистнуть, ударить кого-нибудь по уху или закричать; затем мне без всякого к тому повода стало грустно, и, наконец, заныло в спине. Я слушал, не будучи в силах прервать странное оцепенение, похожее на дремоту, навеваемую вампиром, дремоту сладкую и противную, как запах дурмана.

Баранов замолчал. Последние слова его были:

– Да, кисло, противно все, ходишь как в воду опущенный.

Он встал. Я с ужасом ожидал продолжения.

– Мы поговорим еще, – в виде утешения произнес он, взял мою руку и вяло пожал ее. Я притворился уснувшим. Он ушел, а над горизонтом, вызолотив пароход и водяную рябь, сверкнул диск.

II. Твердая под ногами земля

До высадки я его не видал. В 10 часов утра показался Порт-Мель – место, в котором, как объяснил мне матрос, будут выгружать рельсы для боковой ветки синнигамской дороги.

«Кассиопея» подошла к берегу. На глинистой отмели стояла кучка туземцев и человек пять европейцев. Несколько свай, с наколоченными поверх них мостками, изображали пристань. Далее виднелась свеженаметенная насыпь, груды шпал и несколько дощатых строений.

Я, разумеется, не стал ждать, когда мне, с помощью более или менее грубых приемов, дадут понять, что путешествие мое морским путем кончено. Небрежно заложив большие пальцы своих праздных рук в верхние карманы жилета, я засвистал прощальную песню моряков: «Будь проклят берег без воды и пищи», – и сошел на твердую землю.

Ты еще молод, Ингер, чтобы знать, что такое чувство оторванности; а я, сойдя на берег, не знаю, в который раз, снова испытал его, оглянувшись на пароход. Он равнодушно дымил трубой. Я чувствовал себя слишком самостоятельным; чужим всему, что окружало меня. Я, так сказать, вышел в тираж. Мне следовало надеяться на собственную ловкость, удачу и сообразительность; денег же у меня было как раз столько, чтобы, сунув руку в карман, соорудить гримасу.

Было чрезвычайно и нестерпимо жарко. Обливаясь потом, я шел медленными шагами вдоль насыпи, решительно ни о чем не думая и проклиная Фультона, изобретателя первого парохода. В это время кто-то окликнул меня. Я обернулся и увидел Баранова.

Не знаю почему, но, осматривая нескладную, долговязую его фигуру, я испытал нечто вроде суеверной тревоги. Он быстро приближался, видимо торопясь и чему-то радуясь, так как тень кислой улыбки мелькала в его нервных глазах, и, нагнав меня, сказал:

– Вы куда?

– Дальше, – сухо ответил я. – Я ведь еще не в Шанхае.

– Слушайте, – принимая деловой вид, сказал русский, – нужно ведь что-нибудь придумать. Я рад, что нашел вас, – прибавил он, помолчав.

По рельсам, навстречу мне, шел человек в белой шляпе, голый до пояса и черный по-европейски, т. е. цвета жидкого кофе. Я остановил его, спрашивая, когда придет следующий пароход.

Человек, тщательно осмотрев меня, сказал несколько безутешных фраз. Пароход может прийти, а может и не прийти. Если же это случится, то не ранее, как через неделю. Путь еще не готов, хотя уже ставят на линию паровозы. Но мы, если хотим, можем пройти пешком пятьдесят верст до строящегося через реку железнодорожного моста, а там, сколотив плот, спуститься вниз до города Сан-Риоля; в устье заходят пароходы по расписанию.

Мы постояли еще друг против друга, затем человек в белой шляпе кивнул головой и продолжал свой путь, не оглядываясь.

Я размышлял. Человек этот был так называемый дорожный мастер, и положение путей сообщения ему было, конечно, известно. Пароход ожидать не следовало. Ходить пешком мне тоже не улыбалось. С другой стороны, моя натура не выносит бездействия, я должен идти, хотя бы это был хорошо известный солдатам шаг на месте, это легче, чем сидеть, сложа руки.

Итак, мое решение было составлено. Я посмотрел на Баранова. Рабочая сила двух человек, конечно, лучше одиночных усилий, а здоровые руки могли и очень могли понадобиться

для устройства плота. К тому же в странном русском было что-то, возбуждающее глухую жалость. Я сказал, протягивая ему руку:

– Нас столкнул случай; мы, вероятно, понадобится друг другу, и я предлагаю вам совершить путь до Сан-Риоля вдвоем.

Мы стояли в опушке залитого жарой леса. Глубина его перекликалась певучими, резкими и отрывистыми голосами птиц; лицо Баранова, когда он поднял, в ответ на мои слова, голову, стало прислушивающимся, спокойным и безучастным; он смотрел на меня так, как будто мои слова навеяли на него скуку.

– Слушайте, – сказал он изменившимся, глухим голосом. Сняв шляпу, Баранов провел рукою по волосам, потупился и продолжал: – А я вам сделаю предложение иное.

Я молчал, ожидая, что он скажет.

III. Первое искушение дьявола

– Знаете, – начал русский, неопределенно улыбаясь в пространство, – я, пока вы говорили с туземцем, думал о следующем. В нашей стране, когда, например, политические преступники требуют каких-нибудь законных уступок со стороны тюремной администрации, а администрация этого исполнить не хочет, – объявляется так называемая голодовка. Люди отказываются принимать пищу, угрожая своей собственной голодной смертью. Администрации остается или уступить, или смотреть, как человек медленно умирает.

Об этом странном способе борьбы я действительно читал и слышал; поэтому, кивнув головой, сделал Баранову знак, что жду продолжения, хотя, клянусь ушами и подбородком, я не понимал, к чему клонит русский.

– Теперь, – он потер руки, как бы говоря перед аудиторией, – я обращусь к нашему положению и сравню жизнь с тюрьмой, а нас – с узниками.

Мы – арестанты жизни. Я – заезженный, разбитый интеллигент, оторванный от моей милой родины, человек без будущего, без денег, без привязанности, человек, не знающий, зачем он живет. А я хотел бы знать это. Я арестант и вы – тоже. Вы – бродяга, пасынок жизни. Она будет вас манить лживыми обещаниями, россыпями чужих богатств, красивой любовью, смелым размахом фантазии, всем тем, чем манит тюремное окно, обращенное к солнечной стороне и морю. Но это обман. У вас, как у всякого пролетария, один шанс «за» из многих миллионов «против», так как мир кишит пролетариями. Разве вы не чувствуете, что наше теперешнее положение с особенной болью звенит цепями, которыми мы скованы от рождения? Нас выбросили, как щенят, только потому, что у нас нет денег. Мы блуждаем в незнакомой стране. Жизнь хочет заставить нас сделать тысячи усилий: идти пешком, потом искать лодку, быть может, вязать плот, голодать, мокнуть под дождем, мучиться – и все затем, чтобы, приехав, куда нам хочется, спросить себя: «Да что же нас здесь ждало такое?» Вы, человек старой культурной расы, меня поймете. Мы – люди, люди от головы до ног, со всеми прирожденными человеку правами на жизнь, здоровье, любовь и пищу. А у нас – ничего, потому что мы – арестанты жизни. И вот здесь, под открытым небом, на опушке этого сказочно прелестного леса, в стенах этой роскошной тюрьмы, я предлагаю вам объявить голодовку – жизни. Мы ляжем, не тронемся с места и – будь что будет.

Я охотно постучал бы пальцем по его лбу, но в лице русского не было ни безумия, ни иронии. Глубоко запавшими глазами смотрел пытливо на меня Баранов, теребя бородку, и, по-видимому, ждал серьезного с моей стороны ответа.

Заинтересованный, даже взволнованный слегка горячностью его тона и диковинностью этого предложения, я сказал:

– Так, мы будем лежать. А дальше?

– Ничего, – просто, как бы говоря о самых обыкновенных вещах, возразил он. – День будет сменяться ночью, ночь – днем. Мы ослабеем. Болезненные голодные грезы посетят нас. Потом – или чудо, или же...

– Смерть, – сказал я. – Вы предлагаете смерть.

– Да.

Я молчал, обдумывая возможно более резкий, но не обидный ответ. И снова, как ночью на пароходе, когда приходил Баранов, испытал я противное, сладкое, дурманящее ощущение сонной одури и тревоги. Но тотчас же привычные мысли о делах текущего дня взяли верх, и Баранов стал мне противен, как скользкий гриб погреба, когда, протягивая руку за молоком, наталкиваешься пальцами на мокрую гриба шляпку. По-видимому, спутник мой считал меня тем же, чем был сам, – экземпляром редкостной чудаковатой породы людей.

– Вот что, – сказал я, – ложитесь и подышайте. Но я вижу нечто лучшее впереди: дрезину. Видите вы ее? Она стоит в тупике, около семафора. Теперь время отдыха, и на линии никого не видно. Что если мы сядем на дрезину и поедем к реке?

Признаюсь, гордость не позволила мне сделать это одному, оставив русского. Я хотел показать ему, как весело и бойко течет плохая жизнь в хороших руках.

– А относительно того, что вы говорили, – прибавил я, – то знайте, что я, Бангкок, возьму приз.

– А если нет? – оживленный, по-видимому, насмешливым моим тоном, возразил он.

– Только если подохну. Но пока жив... – И я вспомнил, что я действительно жив, а карты у меня в руках все. – Нет, милый, – прибавил я, – вы для меня только химическая реакция. Я начинаю шипеть. Идите.

Вяло улыбаясь, русский пошел за мной. Смазанная блестящая дрезина понравилась мне с первого взгляда. К тому же после сказанного отступать было поздно.

Я взялся за ручки, нажал их и, памятуя, что нужно удирать как можно скорее, вместе с Барановым, сидевшим, опустив голову, с грохотом пролетел по стыкам у семафора, прибавил ходу, а затем наш краденый экипаж, скользя по новеньким рельсам, обогнул закругление.

Второе искушение дьявола

1

Я качал рычаги дрезины с такой яростью, что потерял шляпу. Ее сорвало воздухом, и она, слетев под откос, исчезла. Навстречу нам неслись рельсы, шпалы, синий горизонт лесистых холмов. Баранов встал. С тем выражением тупого равнодушия, какое было характерным для него в моменты, требовавшие наибольших усилий, русский, схватившись за вторую ручку, лицом ко мне, наклонил, как бык, голову и начал работать.

«Парень встряхнулся!» – подумал я. Он обнаружил недюжинную силу. Узловатые пальцы его крепко стискивали деревянный брус рычага. Мы качали с остервенением. Ни слова не было произнесено между нами. Площадка дрезины, дребезжа на стыках рельс, сотрясала все тело. Пот заливал глаза, и я был мокр, как рыба.

Вероятно, мы проехали верст тридцать, так как характер местности изменился на наших глазах несколько раз. Мы мчались теперь в долине, цветущей, как лицо деревенской красавицы, а впереди, разбросанный островами, бежал к нам навстречу дивный лес козерога, полный редких узоров и очертаний.

– Гудок! – сказал русский. Вытирая лицо ладонью, он вопросительно смотрел на меня, прислушиваясь. Я завертел головой, паровоз – спереди или сзади – безразлично – выкидывал

нас с колеи. Гудок повторился, эхо пронзительного его крика гулко огласило окрестность. Мы уже проехали в лес; страдая от жары, я вытащил из кармана платок и обвязал голову.

– Если локомотив нас нагоняет, а не встречает, – сказал я, – мы можем еще проехать с версту. Ну-ка, подбавь дров!

И мы начали качать так усердно, что плечам угрожал вывих. Рельсы шли на уклон, потом сделали громадное закругление, и наконец прямой, как игла, путь открыл длинную, правильную аллею леса и насыпи. В конце аллеи, пыхая белыми барашками пара, чернел похожий на дымящуюся грудку углей далекий локомотив.

Мы пролетели мимо карьера, где, копая лопатами, сустились черные землекопы, с удивлением оборачиваясь на нас, и я, бросив качать, сказал:

– Тормоз!

Русский затормозил. Дрезина, заскрипев осью, пробежала еще сажен пятнадцать, остановилась, и мы, соскочив шагах в сорока от локомотива и изумленного лица машиниста, бросились бежать к лесу. Оглядываясь на ходу, я увидел ряд платформ с земляным балластом и тучи пара – поезд дал задний ход. Баранов, тяжело дыша, бежал сзади меня. Очень хорошо понимая, что нам грозит в случае поимки, я не жалел себя. Сырые, дикие заросли, сумрак и раскидистые кроны деревьев теснили нас; мой бег походил на драку в толпе, – невидимые враги били меня по лицу, рукам и всему телу мясистыми, зелеными узлами растительных канатов, острыми, как сабли, листьями и твердыми сучьями. С насыпи донесся заглушенный лесом хор восклицаний; тотчас же, прибавив ногам бодрости, хлопнули выстрелы магазинок, и пули, резко визжа, прорезали над головой листву.

Шатаясь от изнеможения, я остановился. Баранов был тут же; бледный, как стекло, он прислонился плечом к стволу, закрыл глаза и опустил голову. Я сел, потом лег. Голова закружилась; сам я, лес и зелень казались мне огромным волчком, пущенным с убийственной быстротой. Но мы, вероятно, успели забежать далеко, так как полная, хмурая тишина окружала нас. Отлежавшись, я встал.

Баранов сидел у дерева, свертывая еще дрожащими от испуга пальцами папиросу.

– Мы, должно быть, недалеко от реки, – сказал я. – В конце концов, дерзость прошла нам благополучно. Вставайте, надо идти.

Он молча поднялся. По-видимому, даже с его фантастических точек зрения оставаться в лесу было нелепо. Простояв минуту на месте – отчасти для того, чтобы дать себе как следует отчет в происшедшем и в том, что предстоит, отчасти потому, что ноги еще плохо слушались, – я и русский пошли вперед, придерживая вправо, к полотну дороги, чтобы не сбиться, и минут через десять увидели в темных просветах стволов, спутанных кружевами ползучих стеблей, солнечную грядку насыпи.

Сколько мы шли – не помню. Не теряя из виду указывающих путь рельс, я, с Барановым в тылу, двигался механически, без раздражения и нетерпения. Я шел потому, что ничего другого не оставалось. Усталость сделала нас безмолвными; странные, великолепно разодетые птицы пролетали в воздухе, живое кольцо змеи, путаясь в траве, убегало, слышав шум наших шагов; звуки, напоминающие сдавленный вопль, вздохи, глухой свист, отдаленный топот скользили по сторонам, в таинственных углублениях темно-зеленых лесных ниш, а мы, оцепеневшие и разбитые, безучастно подвигались к реке, сухо отмечая утомленным вниманием торжественный, притаившийся праздник жизни лесных существ, полный очарования. Золотые локоны солнца, падая в тенистую глушь, блестели красноватым оттенком, растягивались и холодели – признак близкого вечера.

Время от времени, чувствуя голодный позыв, я курил, но это помогало и плохо, и очень сомнительно: глотки дыма усиливали слабость. Ровная, настойчивая мысль о пище преследовала меня; вчерашний день прошел на диете, сегодняшний угрожал тем же. Кроме револьвера,

оттягивавшего мой карман, у нас не было никакого оружия; рассчитывать же на удачную охоту с помощью семи пуль – забавно. Я спросил:

– Есть хочется?

– Да, – сказал Баранов, – и это хуже всего. Я обедал третьего дня, но очень легко, по-дамски.

Он остановился, держа руку козырьком у глаз, выражение уверенности блеснуло в его лице.

– Река, Бангкок, – спокойно произнес он. – Это река.

Повеселев, я посмотрел в направлении его взгляда. Мы стояли совсем близко от насыпи; за рельсами, в просветах противоположной стены леса, по-видимому, представлявшего собой лишь узкий мысок, в низком свете заката блестела вода.

Я облегченно вздохнул. Река – это прямой путь к населенным местам, городу, океану и пароходу.

2

Берег был низок, пуст, покрыт высокой травой, песком и раковинами. Посмотрев вниз по течению, я увидел, что лес то подходит к реке, то, втягиваясь полукругом, открывает песчаные мели, лужайки и змеевидные лужи. Дней пять назад кончилась пора ливней, и отяжелевшая влагой, полноводная Адара лениво кружила стрежи, темнея в спокойном блеске тонущими отражениями противоположного обрывистого лесного берега. Белоголовые хищники полоскали крыльями над водой, клюя влагу, и живое серебро рыб трепетало в их клювах, роняя светлые водяные капли.

– Если плыть, – сказал, присев на камень Баранов, – то нужна лодка. Или, как вы говорили, – плот.

Я, думая об этом сам, тщательно осматривал берег. Мой складной нож пригодился бы для постройки детской водяной мельницы, но, даже еще не вынутый, отказывался срубить дерево. Я рассчитывал на выброшенные рекой стволы подмытых и увлеченных течением деревьев, но их не было видно. Следовало поискать дальше, так как в лесных местностях это все же обычное явление.

Я хотел идти, но не мог: меня мутило от голода. Я мечтал о невозможных вещах – съедобном песке, прутьях из теста, о возможности найти хлеб. Разумеется, это дико. Баранов, посвистывая, жевал стебелек.

И вдруг, как бы согласуясь с нашим плохим настроением, река перестала блестеть. Солнце, готовясь уснуть, куталось в облака; огромные воздушные хризантемы их, налитые красным и розовым светом, причудливо громоздились на горизонте, а цвет воды стал серым и тусклым.

– Через полчаса, – сказал я, – упадет мрак. Позаботимся о ночлеге.

– А о пище? – устало спросил он.

– Обо всем. Собирайте хворост и палите костер, а я попытаю счастья.

Ослабевший, измученный голодом, я имел в виду семь пуль своего револьвера и случайно-неизбежную роковую судьбу какой-нибудь птицы. Баранов, подбирая сухие ветки, направился в одну сторону, я – в другую.

В полутемном, готовом погаснуть, засыпающем лесу я вынул револьвер, осмотрелся и взвел курок. Было тихо; изредка, на фоне синего по-вечернему неба, мелькала тень птицы; невидимый какаду бормотал в глуши, подобно монаху, читающему вечерние молитвы. Я осторожно, стараясь не спугнуть будущих жертв, подвигался среди кустарника. Мне не везло. Ничто живое не улавливали мои глаза; иногда, принимая узлы ветвей или лист странной

формы за живое существо, – я останавливался с сильно бьющимся сердцем, протягивал револьвер и, сознав иллюзию, опускал руки. Вдруг я увидел птицу.

Она сидела совсем вблизи меж двух параллельно вытянутых ветвей и, мелодично посвистывая, блестела круглым глазом повернутой боком ко мне головы. Обострившиеся глаза мои довольно хорошо рассмотрели ее. Она была величиной с курицу, грязно-жемчужного цвета, с серыми, переходящими в красное, крыльями и белым султаном на голове. Из хвоста, падая вниз, тянулось изогнутое перо.

Я протянул револьвер, прицелился и, установив мушку, выстрелил. Птица, взлетев, пересела на ветку выше. Волнуясь, я выстрелил второй раз и, опустив дрожащую руку, увидел, как изогнутое перо хвоста, мелькнув в листьях, слетело прочь. Птица, припав к земле, била крыльями; я бросился к ней, но в тот момент, когда мои руки готовились схватить добычу, она, шумно трепыхаясь, взлетела и скрылась.

Пробежав несколько шагов в направлении ее полета, я остановился, заметив белку. Белка, прильнув к стволу, согнулась, готовая взвиться на вершину дерева. Взбешенный ускользнувшей птицей, я стал расстреливать белку, не сходя с места; первая пуля заставила ее сделать растерянный винт кругом ствола, – головой вниз; вторая – винт вверх, и после третьей зверек, подобно стальной пружине, распластав по воздуху хвост, прыгнул на соседнее дерево. Он исчез. Я долго искал его, но ничего не мог рассмотреть.

У меня оставалось две пули. Тратить их я не смел. Они могли пригодиться для гораздо более важного случая, чем беличье фрикасе. Волнение мое и азарт исчезли, как только я осознал это. Мне хотелось упасть на землю и закричать, завывать долгим, протяжным воем. Слезы бешенства подступили к горлу; стиснув в руке револьвер, я пошел к берегу. В проходе между двумя искривленными, как спутанный моток шерсти, высокими кустами я заметил висящие под каждым листом их грушевидные, черные ягоды и взял одну в рот. Было неудержимое желание проглотить эту штуку, не жуя; однако, боясь отравы, я медленно ворочал ягоду языком во рту; горький и затхлый вкус плода заставил выплюнуть эту гадость.

Солнце скрылось; упал мрак. Передо мной, изрезанный черными лапами ветвей, блестел свет костра, разложенного Барановым. Я вышел из леса. По мелким лужам и влажному от росы гляncy песка тянулись отражения пламени; на фоне красного, колеблющегося огненного венца двигалась черная фигура моего спутника.

– Плохо, – сказал я, подходя к костру, – но делать нечего.

– Да-а... – протянул он, смотря на мои руки. В его лице появилось странное выражение удовлетворения и насмешки; он как будто радовался силе обстоятельств, поддерживающих его холодное отчаяние.

Тоска охватила меня. Я сел; перед лицом ночной реки, пустыни и молчания звездного неба хотелось встать, выпрямиться, поднять голову. Тишина давила меня. Баранов лег, закрыв глаза; свет костра, падая на исхудавшее его лицо, тенями глазных впадин и линий щек заострял черты; человек, лежавший передо мною, напоминал труп.

Я лег тоже, закрыл глаза, испытывая такое ощущение, как будто ухожу в землю, зарываюсь в самые недра ее – и уснул. Меня мучили голодные сны. Я видел пышущие теплом, свежее испеченные хлебы, куски жареного мяса, вазы с фруктами, пироги с дичью; изобильные роскошные закуски и вина. Я с неистовством каннибала поглощал все эти чудеса и не мог насытиться. На рассвете русский и я проснулись, стуча зубами от холода.

Костер потух. В сером песке слабо дымились черные головни. Белая от кисей испарений река медленно кружила стрежи, а за войском утренних облаков разгорался бледный огонь протирающего глаза солнца.

Я вскочил, переминаясь с ноги на ногу и размахивая руками, чтобы согреться. Русский, полулежа, сказал:

– Мы пропадем...

– Это неизвестно, – возразил я.

– Проклятый инстинкт жизни, – продолжал он, и я, внимательно посмотрев на него, видел лицо совершенно растерявшегося, близкого к иступлению человека. Он был даже не бледен, а иссиня-сер; широко раскрытые глаза нервно блестели. – Да, умереть... и нужно... а начинаешь страдать, и тело бунтует. Верите вы в бога? – неожиданно спросил он.

– Да, бога я признаю.

– Я – нет, – сказал русский. – Но мне, понимаете – мне нужно, чтобы был кто-нибудь выше, разумнее, сильнее и добрее меня. Я готов молиться... кому? Не знаю. Не о хлебе. Нет. О возвращении сил, о том, чтобы жизнь стала послушной... а вы?

Я удивлялся его способности говорить сразу все, что придет в голову. Мне было неловко. Я ожидал чего-нибудь вроде вчерашнего – этого своеобразного душевного обнажения, к которому сам не склонен. Так и вышло.

– Слушайте, – сказал русский, без улыбки, по-видимому, вполне проникнутый настроением, овладевшим им. – Нам будет, может быть, легче и веселее... Давайте молиться – без жестов, слов и поклонов. В крайнем случае – самовнушением...

– Оставьте, – перебил я. – Вы, неверующий, – молитесь, можете разбить себе лоб. А я, верующий, не стану. Надо уважать бога. Нельзя лезть к нему с видом побитой собаки лишь тогда, когда вас приперло к стене. Это смахивает на племянника, вспоминающего о богатом дяде только потому, что племянничек подмахнул фальшивый вексель. Ему также, наверное, неприятно видеть свое создание отупевшим от страха. Отношения мои к этим вещам расходятся с вашими; потому, дорогой мой, собирайте руки и ноги и... попытаемся закусить.

Он задумался; потом рассмеялся. Мы пошли рядом, и я заметил, что он искоса поглядывает на меня, как бы стараясь понять нечто – так же, как, в свою очередь, я думал о складе его души – нелепой и женственной.

Третье искушение и пуля-милостыня

1

Походкой и движениями мы, вероятно, напоминали подгулявших мастеровых. Но нам было далеко не до смеха. Мы шли по берегу у воды. Я размышлял о необходимости есть, только это и было у меня в голове. Удрученный вид Баранова действовал мне на нервы. Я нарочно опередил его, чтобы не видеть растрепанного, волосатого своего спутника.

Миновав песчаные углубления берега, полные мутной воды, мы продолжали идти лесом. Он тянулся у самой воды и был сравнительно редок. Электрический удар внезапной надежды поразил меня; я согнулся, смотря исподлобья вверх, на дерево, с которого в меня полетели обломки сучьев и, решительно вынув револьвер, подошел к стволу, а Баранову сделал знак остановиться и не мешать.

На дереве, болтая хвостом, гримасничая, кокетничая и раздувая щеки, сидела порядочная обезьяна, швыряя в нас всякой дрянью. Я прицелился. Обезьяна, думая, что с ней шутят, испустила пронзительное ворчание, перепоясала ветку, на которой сидела, хвостом и бросилась головой вниз, раскачиваясь, подобно акробату перед трапеционным полетом. Я выстрелил и попал ей в лоб, хвост развязался, и мохнатое тело с красным задом полетело к моим ногам.

Я подошел к ней, опустил на корточки, раскрыл складным ножом стиснутые зубы животного и, запустив руку в защечные мешки, вытащил горсть плохо пережеванной ореховой каши. Это было проглочено мной тут же, без размышления. Подняв голову, я увидел нагнувшегося Баранова; радость и голодная тоска светились в его покрасневшем от волнения и нервного смеха лице. Он хихикал почти истерически, хватая обезьяну за лапы. Вынув платок, я разо-

стлал его на земле, распорол шкуру животного и, торопливо накрошив, как попало, маленькими кусками, еще теплое, красное мясо, сложил его на платок.

Мы ели, ворча от наслаждения и болезненной жадности... Помню, что, торопясь клацать зубами, я укусил себе палец. В это время, озарив нас, нашу трапезу и убитую обезьяну, возшло солнце; жгучий блеск испестрил лес дымными полосами лучей, и начался день. Ликующий набег омытого росой светила полонил землю и сделал ее любовницей, повеселевшей от ласк.

Чувствуя тяжесть в обнаглевшем желудке, я опустил руку с недоеденным куском и увидел, что русский смотрит на меня тяжелым, тупым взглядом обжеванного до отвращения человека. Таким же, вероятно, показался ему и я. Счастливо вздохнув, мы легли, вытянулись и, что называется, занялись усердно пищеварением.

Силы медленно возвращались. Я начинал чувствовать плотность, вес и мускулатуру своего тела. Движения рук и пальцев приобрели живую упругость, ноги как бы очнулись от обморока, каждый орган, так сказать, облегченно вздохнул. И, только теперь, насытившись, стали мы перекидываться лениво-благодарными фразами о напитках и кушаньях.

– Вы любите бифштекс по-татарски? – спросил, ковыряя в зубах, Баранов.

– Что это такое?

– А... то, что мы сейчас ели. Сырое мясо.

– Да. Вкусно. Я люблю, – задумчиво прибавил я, – холодное земляничное желе и пирог с саго.

– А я – курицу с рисом. Жаль, что нечего выпить. Вот наша русская водка... это замечательная вещь.

Я знал чудесные качества этого действительно очаровательного напитка и облизнулся.

– Вставайте, – сказал я. – Мы еще ведь в дороге. – Он поднялся, я тоже; очарованный солнцем лес гудел мириадами лесных жизней, глубокое, синее небо дышало прелестью юного дня, и жить было недурно. Завязав остатки обезьяны в платок, прицепив узел к палке и положив палку на плечо, я быстро пошел вперед, осматривая берег.

Все в жизни пестро, Ингер, как тени листья в горном ключе, полном золотых блесток и разноцветных камней дна; горе и радость, несчастные и счастливые случаи бегут, улыбаясь и хмурясь, подобно шумной толпе, навстречу жадным глазам; истинная мудрость в том, чтобы не удивляться. Не удивлялся и я, когда после нескольких часов трудной лесной дороги увидел в невысоком обрыве берега два покачивающихся на воде ствола. То были гигантские, унесенные разливом, деревья; корни их напоминали спутанные волосы ведьмы.

Работать пришлось главным образом мне. Баранов помогал вяло и несерьезно. Содрав штук сорок длинных полос коры, мы скрепили ими деревья; потом, набросив во всю длину их груды ветвей, иступили и, наконец, окончательно сломали нож, вырезав два, довольно неуклюжих, шеста. Пользуясь шестами, как рычагами, я и русский столкнули застрявшие в песке концы деревьев на воду, сели и оттолкнулись.

Плот сильно погрузился в воду, но невероятная толщина стволов обеспечивала сухое сиденье. И вот на этом узком, напоминающем затонувший стог сена сооружении мы, усевшись поближе к корням, раскинувшим над водой и в воде огромные свои лапы, тихо поплыли вниз. Сначала, как бы раздумывая, принять нас в свое течение, или нет, река двигала плот у берега; потом, повернувшись на быстром водовороте, плот плавно отошел к середине реки и двинулся по течению, покачиваясь, как спина лошади, идущей шагом.

2

Была ночь, тьма и молчание. Впереди, радуя сердце, опоясали тьму бесчисленные огни – то показался из-за мыса амфитеатр Сан-Риоля – город, битва людей.

Положив шесты, мы стояли плечом к плечу, смотря на приближающийся огненный узор мрака. Я был спокоен и тихо весел, даже раздражение мое против Баранова улеглось, сменившись теплым приятельским чувством – как-никак дорогу мы совершили вместе.

Я положил ему на плечо руку и сказал:

– Кажется, мы у цели. Ну вот, все идет хорошо.

– Мне грустно, – возразил он. – Ах, Бангкок, вы чем-то привязали меня к себе. Город пугает меня. Снова все то же: ночлеги на улицах, поиски куска хлеба, работы, усталость, жизнь впроголодь... одиночество. Как будто не в зачет прошли мои тридцать лет, словно только что начнешь бороться за жизнь... Скучно. Вернемтесь... – тихо прибавил он, – назад, в лес. Люди страшны, человек бесчеловечен. Бесчисленные, жестокие шутники злой жизни ждут нас. Вернемтесь. Купим, или украдем ружья и, при первой возможности, уйдем от людей. В тихом одиночании пройдут года, в памяти изгладятся те времена, когда мы были среди людей, боялись их, любили или ненавидели, и даже лица их забудутся нам. Мы будем всем тем, что окружает нас – травой, деревьями, цветами, зверями. В строгости мудрой природы легко почувствует себя освобожденная от людей душа, и небо благословит нас – чистое небо пустыни.

– Опять вы стали ребенком, – сказал я, тронутый его отчаянием. – Я – воин, драчун, человек упорный и петушистый. Нет. У меня руки чешутся. Отравленный воздух города возбуждает меня.

Мы перестали разговаривать, так как из тьмы выдвинулся небольшой остров. Я хотел обогнуть его и уже взялся за шест, чтобы дать плоту нужное направление, но вдруг пришла мне в голову полезная мысль.

– Ведь в городе нам ночевать негде, – сказал я, – высадимся на берег и переночуем.

Русский кивнул головой. Вскоре мы сидели перед костром, жарили на прутьях окорок обезьяны, курили и думали.

3

– Смотрите, – сказал русский, – обратите внимание на воду.

Костер, для которого мы не пожалели хвороста, далеко освещая реку, пылал, как горящий амбар. Красная, оранжевого цвета, вода окружала берег, свет костра, путаясь в полосах струй, чертил в них карминным и синим золотом переливающиеся, изменчивые узоры.

– Да, красиво, – сказал я.

– Не кажется ли вам, – заговорил русский, смотря на воду, – что я скоро уйду?

– Куда? – хладнокровно, привыкнув уже к странностям своего спутника, спросил я.

Он пристально посмотрел на меня, потом, закрыв глаза, продолжал:

– Мне кажется, что я не существую. Я, может быть, – всего-навсего лишь сплетение теней и света этой стелющейся перед вами призрачно-красной водяной глади.

– Что вы хотите сказать этим?

– Дайте на минуту револьвер, – медленно произнес он.

Пожав плечами, я вынул из кармана оружие и подал ему. Оставалась всего лишь одна пуля, я вспомнил об этом, далекий от всякого подозрения, случайно.

Баранов, приставив дуло к виску и продолжая сидеть, отвернулся. Я увидел его затылок, внезапно задрожавшие плечи и, оцепенев, понял, в чем дело. Произошло это так неожиданно, что я несколько раз открывал рот, прежде чем крикнул:

– Что с вами?

– Устал я... – нагибаясь к земле, сказал он. – Все пустяки.

Закрыв лицо руками, я ожидал выстрела.

– Не могу, – с бешенством крикнул Баранов, хватая меня за руки, – лучше вы... пожалуйста!

Я долго смотрел в помертвевшее его лицо, обдумывая эту слишком серьезную просьбу, и... Ингер... нашел, что так действительно для него лучше.

Мы подошли к обрыву. Я вел его за руку. И здесь, нащупав дулом мягкую кожу его лба, я, отвернувшись, исполнил то, о чем просил меня спутник, уставший идти.

Выстрел показался мне оглушительным. Тело русского, согнувшись, упало в воду и, шевеля освещенными костром бледными кистями рук, скрылось в глубине струй. Но долго еще казалось мне, стоящему с опущенной головой, что из красной, переливчатой, вспыхивающей отражениями огня ряби смотрит, успокоенно улыбаясь, его лицо.

* * *

Через два дня я поступил матросом на «Южный Крест» и поплыл в Шанхай.

Интересно, интересно жить, Ингер. Сколько страха и красоты! А от смеха иногда поми-раешь! Плакать же – стыдно.

А трубка, мой дорогой, потухла...

Зурбаганский стрелок

I. Биография

Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, из коих годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием.

Мой дед, лишившись рассудка на восьмидесятом году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку, единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни омрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать, когда мне было семнадцать лет, ушла в монастырь; как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех, требующих постороннего внимания, случаях. В общих, отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом, скажу лишь, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и т. п., играм, требующим весьма небольшого числа одинаково настроенных соучастников, – рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутый, сосредоточенный и недоверчивый. Мой отец был корабельный механик; я видел его не часто и не подолгу – он плавал зимой и летом. Кроме весьма хорошего заработка, отец имел небольшие, но существенные по тому времени деньги; мать же, которую я очень любил, редко выходила из спальни, где проводила вечера и дни за чтением Священного Писания, изнурительными молитвами и раздумьем. Отец иногда бессвязно и нежно говорил со мною, что бывало с ним в моменты сильного опьянения; как помню, он рассказывал о своих плаваньях, случаях корабельной жизни и, неизменно стуча в конце беседы по столу кулаком, прибавлял: «Валу, все они свиньи, запомни это».

Я не получил никакого стройного и существенного образования; оно, волею судеб, ограничилось начальной школой и пятью тысячами книг библиотеки моего товарища Андрея Фильса, сына инспектора речной полиции. Фильс был крупноголовый, спокойный и сильный мальчик, я же, как многие говорили мне, лицом и смехом напоминал девочку, хотя в силе не уступал Фильсу. Сдружились мы и познакомились после драки из-за узорных обрезков жести, в изобилии валявшихся вокруг слесарных портовых мастерских. В играх Фильс предпочитал тюремное заключение, плен или смерть от укуса змеи; последнее он изображал вдохновенно и не совсем плохо. Часто мы пропадали сутками в соседнем лесу, поклоняясь огню, шепча странные для детей, у пылающего костра, молитвы, сочиненные мною с Фильсом; одну из них благодаря ее лаконичности я запомнил до сего дня; вот она:

«Огонь, источник жизни! От холодной воды, пустого воздуха и твердой земли мы прибегаем к тебе с горячей просьбой сохранить нас от всяких болезней и бед».

Между тем местность, в которой я жил с матерью и отцом, была очень жизнерадостного, веселого вида и не располагала к настроению мрачности. Наш дом стоял у реки, в трех верстах от взморья и гавани; небольшой фруктовый сад зеленел вокруг окон, благоухая в периоде цветения душистыми запахами; просторная, окрыленная парусами река несла чистую лиловатую воду, – россыпи аметистов; за садом начинались овраги, поросшие буками, ольхой, жасмином и кленом; старые, розовые от шиповника, изгороди пестрели прихотливым рисунком вдоль

каменистых дорог с золотой под ярким солнцем пылью, и в пыли этой ершисто топорщились воробьи, подскакивая к невидимой пище.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец сказал: «Валу, завтра ты пойдешь со мною на “Святой Георгий”; тебе найдется какое-нибудь там дело». Я не особенно огорчился этим. Мне давно хотелось уехать из Зурбагана и прочно стать собственными ногами в густоте жизни; однако я не мог, положа руку на сердце сказать, что профессия моряка мне приятна: в ней много зависимости и фатальности. Я был настолько горд, что не показал этого, – я думал, что, если отец тяготится мною, лучше всего уходить в первую дверь.

Мое прощание с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее. Она, прощаясь, сказала: «Валу, делай себе зло сколько угодно, но никогда, без причины, другим; сторонись людей». Мы были на катере к пароходу, и отец представил меня грузному человеку; этот человек, полузакрыв глаза, снисходительно смотрел на меня. «Примите его кочегаром, господин Пракс, он будет работать», – сказал отец. Пракс, бывший старшим механиком, сказал: «Хорошо», – и этим все кончилось... Отец, натянуто улыбаясь, отошел со мной к борту и стал рассказывать, как он сам, начав простым угольщиком, возвысился до механика, и советовал мне сделать то же. «Скучно жить без дела, Валу», – прибавил он, и это прозвучало у него искренне. Затем, пообещав прислать мне все необходимое – белье, одежду и деньги, – он сдержанно поцеловал меня в голову и уехал.

Так началась самостоятельная моя жизнь. «Святой Георгий» после шестимесячного грузового плавания попал в Китай, где, скопив небольшую сумму денег, я рассчитался. Меланхолическое настроение мое за это время несколько ослабело, я окреп внутренне и физически, стал разговорчивее и живее. Я рассчитался потому, что хотел попробовать счастья на материке, где, как я хорошо знал и слышал, для умного человека гораздо больше простора, чем на ограниченном пространстве затерянного в океане машинного отделения.

С врожденным недоверием к людям, с полумечтательным, полупрактическим складом ума, с небольшим, но хорошо всосанным житейским опытом и большим любопытством к судьбе приступил я к работе в богатой чайной фирме, начав с развески. Совершенствуясь и постигая эту отрасль промышленности, я скоро понял секрет всяческого успеха: необходимо сосредоточить на том, что делаешь, наибольшее внимание наибольшего количества заинтересованных прямо и косвенно людей. Благодаря этому, весьма элементарному, правилу я через пять лет стал младшим доверенным своего хозяина и, как это часто бывает, женился на его дочери, девушке с тяжелым характером, своевольной и вспыльчивой. Нас сблизило то, что оба мы были людьми замкнутыми и высокомерными; более нежное чувство оказалось крайне непрочным. Мы развелись, и после смерти отца жены поделили имущество.

Здоровый, свободный и богатый, я прожил несколько следующих лет так, что для меня не осталось ничего неизведанного в могуществе денег. Я часто размышлял над своей судьбой. С внешней стороны, по удачливости и быстро наступившему благополучию, судьба эта покрыла меня блеском, а из многочисленных столкновений с людьми я вынес прочное убеждение в том, что у меня нет с ними ничего общего. Я взвесил их прихоти, желания, стремления, страсти – и не нашел у себя ничего похожего на вечные эти пружины, и передо мной самым недвусмысленным образом встал дикий на первый взгляд короткий вопрос: «Как и чем жить?» – потому что я не знал «как» и не видел «чем».

Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели, в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым, – приводят к утомлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью – ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения; идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены: я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие, ее болезнь и карикатура; в отвлечении же она имела не

более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, томительное и лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека твердили мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была – отчаяние. Я искал ответа в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений; они знали не больше, чем я, и в мысли их таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных; слушал так, как слушают взволнованный голос признаний; твердил строфы поэтов, смотрел на гибкие, мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний, но в звуках, словах, красках и линиях видел только отчаяние; я открывал его везде, всюду, я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами.

В 189... году я посетил Зурбаган, где не был пятнадцать лет. Я хотел окончить жизнь там, откуда начал ее, и в этом возвращении к первоисточнику прошлого, после многолетних попыток создать радость жизни, была острая печаль неверующего, которому перед смертью подносят к губам памятный в детстве крест.

II. Зурбаган

Остановиться у родителей я не мог – они давно умерли, а в доме поселилась старуха, родственница отца, которую я менее всего хотел беспокоить. Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город; он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации – электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха, но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцообразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, – делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.

Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газет и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу, и яростно следил за действиями, восклицая: «Я это предвидел!» – или: «Совершенно правильная диверсия!» Между тем ходили слухи, что Брен отброшен к лесам Хассавера, и Зурбагану, если вторая армия не овладеет вовремя покинутыми позициями, грозит опасность вторжения.

Я вскользь думал обо всем этом, сидя у раскрытого окна с газетой в руках, текст которой, надо сознаться, более интересовал меня оригинальным размещением объявлений, чем датами атак и приступов. Эти объявления были тщательно подогнаны под упоминание в тексте о каком-либо предмете; например, сообщение об автомобильной катастрофе после слов «лопнули шины» прерывалось рекламным рисунком и приглашением купить шины в магазине Х.

В дверь постучали. Я встал и сказал: «войдите», после чего, ожидая появления слуги, увидел высокого, с белым цветком в петлице, крупного, широкоплечего человека. Он, слегка нагнув голову, всматривался в меня с очень деловым, спокойным выражением худого лица. Я тоже пристально смотрел на него, пока оба не улыбнулись.

– Фильс! Валуэр! – разом произнесли мы, и этим наше удивление кончилось. Время сильно изменило товарища детских игр, виски его поседели, а глаза, с навсегда застывшим

выражением скупого смеха, обнажали над зрачком узкую полоску белка. Мы помолчали, как бы привыкая путем взаимного осмотра к тому, что от последней встречи до этой прошло много лет.

– Я прочитал твою фамилию на доске гостиницы, – сказал Фильс.

Мы сели.

– Как дышишь, Валу?

– Как попало, – сказал я. – А ты?

– Так же. – Он понюхал цветок и сморщился. – Отвратительный запах, сладкий, как муха в патоке. Слушай, Валу, давай спокойно, по очереди рассказывать о себе. Это, не в пример экспансивным возгласам, сократит нам время. Начинай ты.

Я стал рассказывать, а Фильс тихо покачивал головой и, когда я остановился, заметил:

– Я ждал этого; помнишь, Валу, еще мальчиками мы делились предчувствиями, уверенные, что наша судьба лежит в сторону зигзага, а не прямой линии. Вот что произошло со мной. Я был счастлив так, как могут быть счастливы только ангелы на небесах, и потерял все. В моем несчастии была какая-то свирепая стремительность. После смерти жены один за другим умирали дети, и я с огромной высоты упал вниз, искалеченный навсегда.

Он посмотрел на цветок, вынул его из петлицы и бросил в окно.

– Подарок девицы, – объяснил он. – Я вовсе ее не просил об этом, но старые привычки способны еще заставить меня из вежливости связать кочергу узлом.

Мы помолчали. Я думал о судьбе Фильса и наших пламенных молитвах огню об избавлении нас от всяких бед и несчастий, ясно представляя себе двух босоногих, серьезных мальчиков в тихом лесу, пытающихся, предчувствуя будущее, уйти от холода жизни к жарким вихрям костра. Но огонь потух, зажигать его снова не было ни сил, ни желания.

– Что же у тебя впереди? – спросил Фильс.

– Ничего, – сказал я, – и это без всякой жалобы.

Фильс кивнул головой, зевая так азартно, что прослезился. Расспрашивать далее друга друга было неинтересно и даже навязчиво; все, что еще могли мы сказать о себе, было бы повторением хорошо усвоенного мотива.

– Хочешь развлечься? – сказал Фильс. – Если хочешь, я покажу тебе забавные вещи.

– Где?

– Здесь, и не далее десяти минут ходьбы.

– Шуты? Клоуны? Акробаты?

– Совсем нет.

– Женщины?

– Если ты вспомнил про цветок, которым теперь уже, наверное украсил, себя первый поэтически настроенный трубочист, то это более выдает тебя, чем меня.

– Я сам женщина, – сказал я, – хотя бы потому, что нуждаюсь в них не более женщины. Какого сорта твои развлечения? Говори начистоту, Фильс!

– Так не годится, – кротко улыбнулся Фильс, и я в этой улыбке понял его характер более, чем в словах; он улыбнулся с выражением совершенной покорности. Я никогда не видел более выразительной и жуткой улыбки. – Не годится. Всякое приличное развлечение требует тайны и неожиданности. Что скажешь ты, если приготовления к зрелищу будут происходить на твоих глазах? Итак, сделайся неосведомленным зрителем. Я могу лишь, для усиления твоего любопытства, а косвенно – для некоторых наводящих размышлений, поведать тебе следующее: странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни; развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одиночество во взглядах, симпатиях и мировоззрении, и в то же время усилилась, как следствие одиночества, – тоска. Герой времени – человек одинокий, бессильный и гордый этим, – совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все

это напоминает внезапно наступившую дурную, дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц, или, наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни – два полюса одного настроения – указывают на решительность и обдуманность; число самоубийств огромно. Простонародье освирепело; насилия, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные и дикие, как сон тигра, дают хроникерам недурной заработка. Усилилось суеверие: появились колдуны, знахари, ясновидящие и гипнотизеры; любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом. Но есть люди без зонтика...

Пока он говорил, смерклося, на улице появились неподвижный свет фонарей, беглые тени, силуэты в окнах. Я слушал Фильса без удивления и тревоги, подобный зеркалу, равно холодному перед лицом гримасы и горя.

– Это понятно, – сказал я, – время от времени человека неудержимо тянет назад; он конфузится, но недолго; богатая коллекция столетий сидит в нем; так, собственник музея подчас пьет, не пытаясь даже объяснить себе – почему, – пьет кофе из черепа египетского сапожника.

– Зачем объяснения? – сказал Фильс. – Нам в нашей жизни они не нужны. Не так ли?

– Я согласен с тобой.

– Прими же мое приглашение. Я покажу тебе взамен старых зонтиков новый. Соблазнься, так как это заманчиво.

– Хорошо, – сказал я, – пойдем, и если еще есть на свете для меня зонтик, я, пожалуй, возьму его.

III. Для никого и ничего

Покинув освещенный подъезд гостиницы, я и Фильс, взявшись под руку, спустились на улицу Гладиатора и шли некоторое время вдоль канала, соединяющего рукава реки. Здесь было мало прохожих, и я, всегда чувствовавший неприязнь к толпе, находился в очень спокойном настроении. Вполголоса, так как оба не любили разговаривать громко, делились мы многими впечатлениями истекших пятнадцати лет. После жаркого дня холодный, сухой воздух ночи освежал голову, и все воспоминания были отчетливы. Через несколько минут Фильс заставил меня свернуть меж двух каменных заборов в небольшой переулок; у дальнего конца его мы остановились; передо мной была высокая, над каменными ступенями, дверь. Фильс поднялся и дернул ручку звонка. Очень скоро я услышал поворот ключа, и из неяркого света лестницы к нам в темноту нагнулась, с темным от уличного мрака лицом, большая голова на тонкой, костлявой шее. Вполне женским голосом эта голова спросила, дымя загатою в зубах трубкой:

– Почему вы опоздали, милейший, и кто это с вами?

– Он может, – сказал Фильс. – Ну-ка, пропустите меня.

Мы вошли и стали подниматься по лестнице, а за нами шел хозяин большой головы, одетый в пестрый халат. Невольно я оглянулся и увидел назойливо, с непередаваемой рассеянностью устремленные на меня блестящие голубые глаза. Он смотрел так, как смотрят на карандаши или огрызок яблока.

До сих пор все текло обычным порядком, и я не видел ничего достопримечательного. По обыкновенной лестнице прошел я за Андреем Фильсом в маленький коридор; в самом конце его освещенными щелями рисовалось римское I закрытой двери, за нею слышались разговор, смех и свист. От Фильса мистификации я не ожидал и потому приготовился серьезно отнестись ко всему, что мне придется увидеть. Человек с большой головой, замыкая шествие, что-то сказал; думая, что это относится ко мне, я спросил:

– Что именно?

– А? – вяло отозвался он.

– Я говорю, что не расслышал, что вы сказали.

– А! – Он зашипел трубкой. – Я сказал «тру-ту-ту» и «брилли-брилли», – и, так как я, опешив, молчал, добавил: – Моцион языка.

Мне некогда было принять это в шутку или всерьез, потому что Фильс уже тянул меня за рукав, распахнув дверь. Я вошел и увидел следующее.

В большой, с плотно занавешенными окнами комнате стоял посредине ее маленький стол. Пол был покрыт старым ковром, у стен, на плетеных стульях, сидели четыре человека; еще двое ходили из угла в угол с руками, заложенными за спину; один из сидевших, держа на коленях цитру, играл водевильную арию; сосед его, вытянув ноги и заложив руки в карманы, подсвистывал весьма искусным, мелодическим свистом. Третий играл сам с собой в орлянку, подбрасывая и ловя рукой серебряную монету. Двое, расхаживающие из угла в угол, – громко, тоном спора говорили друг с другом. Шестой из этой компании, склонившись на подоконник, спал или старался уснуть. Когда мы вошли, Фильс сказал:

– Друзья, вот этот человек, который пришел со мной, – наш гость. Его зовут Валуэр. – Затем, обращаясь ко мне, продолжал: – Валу, представляю тебе ради забавы и поучения очень скромных и хороших людей, вполне достойных, благовоспитанных и приличных.

Нельзя сказать, чтобы я что-нибудь понял из всего этого. Раскланиваясь и пожимая руки, я с недоумением посмотрел на Фильса. Он подмигнул мне, как бы говоря: «Ничего, все будет ясно». Затем, не зная, что делать дальше, я отошел в угол, а Фильс сел за стол, послал мне воздушный поцелуй и стал серьезен.

Прежде чем рассказывать дальше, я должен изобразить наружность каждого члена собрания. Их имена были: Фильс, Эсмен, Суарт, Гельвий, Бартон, Мюргит, Стабер и Карминер. Фильса вы знаете. Эсмен, с толстой нижней губой, небольшим, но округлым брюшком и кривыми ногами, напоминал гордого лавочника. Суарт, человек приблизительно сорока лет, был слеп и мужественно красив; темные очки на его безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Высокий, сутуловатый Гельвий имел тонкие, бескровные губы, длинные, медного цвета, волосы, серые глаза и высоко поставленные, монгольские брови. Бартон, с короткой, бычьей шеей, сильным дыханием, усталым, багровым лицом, пухлыми от пьянства глазами, грузный, неряшливо одетый, был совершенной противоположностью женственному, пепельному блондину Мюргиту, похожему на переодетую девушку. Певучая улыбка Мюргита дышала утонченным, ласковым вниманием. Стабер, вполне актер по наружности, избегал в костюме обычных для этого сословия ярких галстуков и очень модных покроев. Наконец, Карминер, тот самый, что открыл дверь на улицу, был низкого роста; большой, умный и чистый лоб его давил маленькие голубые глаза и всю остальную миниатюрную часть лица, оканчивающуюся младенческим подбородком.

Но самым замечательным и общим для наружности всех этих людей были глаза. Их выражение не менялось: открытый, прямой и ровный взгляд их поражал неестественной живостью, затаенной иронией и (вероятно, бессознательным) холодным высокомерием. Я долго ломал голову, пытаюсь вспомнить, где и когда я видел людей с такими глазами; наконец вспомнил: то были каторжники на пыльной дороге между Вардом и Зурбаганом. Вырванные из жизни, в цепях, глухо звеневших при каждом шаге, шли они, вне мира, к бессмысленному труду.

Фильс тоном учителя произнес:

– Валуэр, в коротких словах я объясню тебе, кто с тобой в этой комнате. Я и все остальные, каждый по личным, одному ему известным причинам, образовали «Союз для никого и ничего», лишенный в отличие от других союзов и обществ так называемой «разумной цели». Первоначально нас было семнадцать человек, но те, кого не хватает здесь по числу, удалились вследствие неудачных опытов и более не придут. Мы производим опыты. Цель этих опытов – испытать, сколько дней может прожить человек, пускаясь в различные рискованные предприятия. Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над

собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами тоже, что маляр перед Лувром. Отвага, решительность, самообладание, храбрость – все это для нас пустые и лишние понятия, об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безрукого; ничего этого у нас нет, есть только спокойствие; мы работаем аккуратно и хладнокровно.

Единодушные аплодисменты залпом грянули в комнате. Фильс корректно раскланялся, а я хорошо понял сказанное им, но для выражения этого понимания нет сильных и стройных слов; я словно заглянул в белую, дымчатую пустоту без дна и эха.

– Прилично взвешено, – сказал толстый Бартон.

– Слог и стиль, – подхватил Эсмен.

– Венчать его крапивой и розгами, – отозвался Гельвий.

– Перехожу к моей выдумке, – сказал Фильс. – На заводе Северного Акционерного Общества есть паровой молот весом в шестьсот пудов, делающий в секунду с четвертью два удара. Я предлагаю, установив эту скорость движения, прыгать через наковальню с завязанными глазами.

– Пыль и брызги! – расхохотался Стабер. – Недурна выдумка, Фильс, но кто же нас пустит к молоту? Нам просто дадут по шее.

– Деньги пустят, – сказал Фильс. – Зачем нам деньги?

– Мы это обсудим, – решил Карминер. – Давайте отчет.

– Да, отчет, давайте отчет! – заговорили вокруг стола, усаживаясь на стульях.

– Три месяца хожу, а каждый раз интересно, – сказал, облизываясь, Эсмен.

Фильс вынул из ящика стола лист бумаги. С карандашом за ухом, деловито поджатыми губами и бесстрастным взглядом он напоминал аукционного маклера.

– Говорите, – сказал Фильс. – Ну, вы первый, что ли, Карминер.

– Я, – заговорил ворчащим голосом Карминер, – играл с бешеной собакой около бойни.

– Что вышло из этого?

– Укусила она меня.

– Прививку будете делать?

– Нет.

– Хорошо. Но лучше вам недели через три застрелиться.

– Я утоплюсь.

– Дело ваше. Свидетели кто?

– Два мясника, – Леер и Саваро, Приморская улица, номер шестнадцать.

Болезненный, неудержимый смех готов был вырваться из моей груди при этом лаконическом диалоге, но я быстро подавил его. Лица членов собрания остались невозмутимо серьезны, даже торжественны.

– Мюргит, – сказал Фильс, – вы как?

– Почти ничего, – простодушно ответил юноша, краснея. – Я только обошел перила речной башни.

– Свидетели?

– Стабер и полицейский Гунк.

– Эсмен, вы?

– Я, – сказал Эсмен, – увлекся мелким спортом. Я останавливал спиной трамвай и автомобили. Ни один не переехал меня.

– Это и видно, – заметил Фильс, улыбаясь мне. – Свидетели?

– Трое мальчишек-газетчиков номера восемьдесят семь, сто четыре и двадцать шесть.

– Стабер!

– Была дуэль. Я стрелял вверх, а враг мимо в двадцати шагах.

– Свидетели?

– Капитан Хонс, полковник Риго и врач Зичи.

– Бартон!

– Вчера, – загудел Бартон, – я выплыл через пороги у Двухколенного поворота при низкой воде и прибыл к Новому мосту уже без весел. Свидетели: хроника газеты «Курьер».

– Почтенно, – сказал Фильс. – Ну, а вы, господин Суарт?

Слепой поднял голову, направляя стекла очков мимо лица Фильса.

– Я, – тихо заговорил он, – выпил из трех стаканов один: два были с чистым вином, а третий с не совсем чистым.

– Свидетели?

– Мой брат.

– Теперь Гельвий.

– Я ничего не делал, – сказал Гельвий, – я спал. И видел во сне, что ем хлеб, вымазанный змеиным ядом.

– Свидетелей не было, – кратко заметил Фильс. – А я, господа, повторил несколько раз вот что, – Фильс показал револьвер. – Он на шесть гнезд. Я вкладывал один патрон, поворачивал барабан несколько раз и спускал курок, держа дуло у виска. Именно это я хочу сделать сейчас.

– Если не будет выстрела – только чикнет, – заметил Эсмен.

– Да, чикнет, – спокойно возразил Фильс, – но ведь это интересно мне.

– Разумеется, – подтвердил Гельвий. – Ну, покажите!

Как ни был я равнодушен к своей и чужой жизни, все же последующая сцена произвела на меня весьма неприятное впечатление. Фильс, под внимательными взглядами членов оригинального союза, сунул в блестящий барабан револьвера один патрон, перевернул барабан быстрым движением руки и взял дуло в рот. Не желая быть смешным, я воздержался от всякого вмешательства, хотя несколько волновался. Глаза всех были устремлены на движения пальцев правой руки Фильса; он сдвинул брови, как бы сосредоточиваясь на чем-то важном и известном только ему, затем кивнул головой и нажал спуск.

Правда, был лишь один шанс против пяти, что безумец разmozжит себе череп, но я почему-то приготовился именно к этому, и напряжение мое, встретившее, вместо ожидаемого – по чувству нервного сопротивления, выстрела – металлический спуск курка, – осталось неразрешенным. Неожиданно меня потянуло сделать то же, что сделал Фильс, отчасти из солидарности; но в большей степени толкнул меня к этому острый зуд риска, родственный неумержимому стремлению некоторых людей переходить трамвайные рельсы почти вплотную к пробегающему вагону. Пока члены союза критиковали выходку Фильса, находя ее, в общем, мало эффектной, хотя серьезной, я, выбросив из своего револьвера пять патронов и перекрутив барабан, сказал:

– Фильс, мы всегда ведь играли вместе, посмотри, что будет со мной.

– А?! – сказал Фильс печально. – Тебя тоже знобит? Хорошо; прощай или до свидания.

Я закрыл глаза и, невольно холодея, нажал спуск. Курок щелкнул возле уха отвратительным звуком; я опустил руку, поморщившись. В забаве был скверный цинизм.

Никто не повторил за мной этого опыта, и разговор после некоторого молчания стал общим. Через полчаса Карминер прочел нам коротенькую диссертацию о «Законах Мертвого Духа», а Бартон затеял с Гельвием спор о гашише; Гельвий сказал: «Гашиш плюс я – другой человек. Я желаю быть я». Бартон возразил: «Я же не хочу этого, я надоел себе». Устав, я условился с Фильсом относительно следующего нашего свидания.

– Что же, – сказал на пороге Фильс, – как зонтик?

– Зонтик, – заметил я, – странноват, – да. Но лучше смолчим. Я уйду без сожаления; вкусы различны.

– Так, – сказал он, прощаясь, – к этому не привыкнешь сразу. – И я вышел на улицу.

IV. Астарот

Вернувшись к себе, я понял, что не усну. Перед моими глазами, сменяясь одно другим, всплывали из темноты, беззвучно говоря что-то, лица членов союза; в выражении глаз их, смотревших на меня, не было ни участия, ни доброжелательства, ни усмешки, ни вражды, ни печали; полное равнодушие скуки отражали эти глаза и совершенное безучастие. Станные на первый взгляд поступки имели для них, в силу болезненного отношения к жизни, значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливающийся по парапету башни; Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах; Фильс с револьвером у виска – все это, по-видимому, бессознательно, поддерживало угасающее любопытство к жизни; охладев к ней, они могли принимать ее, как врага, только в постоянных угрозах. Люди эти притягивали и отталкивали меня, что можно сравнить с толпой бродячих цыган на бойкой городской улице: смуглые чуждые лица, непонятный язык, вызывающие движения, серьги в ушах, черные волосы и живописные лохмотья останавливают внимание самых прозаических, традиционно семейных людей, и внимание это не лишено симпатии; но кто пойдет с ними в табор? Индивидуальность противится выражению самых заветных ее порывов в форме, для нее несвойственной, и та же цыганщина, задевшая сердце скромного человека, найдет выход в песне или разгуле.

Глубоко задумавшись, просидел я, не зажигая огня, до рассвета, когда, посмотрев в окно, увидел перед воротами гостиницы серую верховую лошадь под высоким седлом и слугу, державшего ее в поводу. Через минуту из ворот вышел человек.

Я не могу отказать себе в удовольствии описать этого человека подробно. Человечество иногда выдвигает фигуры и лица, достойные глубокого зрительного анализа, без чего заинтересованный наблюдатель не всегда уяснит главное в поразившей его внешности; подобная внешность, лишенная оригинальности дурного тона, очень красноречиво и убедительно заставляет думать, что содержательность зрительных впечатлений не уступает книге; искусство смотреть для очень многих еще тот самый всемирный, но не изученный язык, о котором ревностно твердят нам эсперантисты.

Незнакомцу на взгляд было сорок пять-пятьдесят лет. Плечи его, хотя в остальном он не был ширококостным, угловатые и широкие, позволяли рукам висеть свободно, не прикасаясь к туловищу. Под черными волосами, составляющими как бы продолжение черной шапки, прятались уши; глаза сходились у переносья, линии костлявого носа и лба составляли одну прямую. Глаза резко освещали лицо... От висков до третьей пуговицы жилета струилась бараньим мехом черная борода. В лице вошедшего, именно, – все струилось; другим выражением я не точно определил бы то общее, что есть в физиономии каждого человека; упомянув уже об отвесной линии лба и носа, я перейду к остальным чертам: опущенные углы бровей, глаз и рта, с твердой линией губ; падающие в бороду усы; волосы, выбивающиеся из-под шапки и дающие, благодаря густоте, подлинную иллюзию тяжести, – все струилось отвесно, подобно скованному льдом водопаду. Незнамец был одет в черную суконную блузу, серый, поверх блузы, жилет с синими стеклянными пуговицами, кожаные брюки и сапоги на толстых подошвах; единственной роскошью были серебряные шпоры с глухо звеневшими колесцами.

Рассматривая этого человека, я невольно позавидовал ему. Мне предстоял день убийственного безделья; он же, вероятно, собирался делать хорошо известное, нужное для него дело и был поглощен этим. Смутное решение зародилось во мне, скорее – представление о движении, в котором, как всегда, я находил некоторое рассеяние. Я думал, что мои нервы требуют

настоящего утомления. Продолжая обдумывать это, я позвонил и спросил заспанного слугу о неизвестном всаднике.

– Это охотник, – сказал слуга, презрительно посмотрев в окно, – дикий и необразованный человек; он, когда останавливается у нас, то спит в конюшне вместе со своей лошадыю.

– Очень хорошо, – сказал я. – Мне хочется поговорить с ним.

Слуга ушел. Прошло немного времени, и я, услышав шаги, открыл дверь. Охотник, сняв шапку, остановился на пороге, осматривая меня и мое помещение. Он не сказал ни слова, но, кончив беглый осмотр, встретился со мной взглядом и протянул руку.

– Астарот, – сказал он, и в его лице появилось выражение нетерпеливого ожидания.

– Что вы скажете насчет хорошей охоты?

– Доброе дело.

– Устройте мне это.

– Где?

– Где! – но вы должны лучше меня знать «где».

– Я хочу сказать – близко или далеко от города? Чем дальше, тем лучше; если же вы любите стрелять уток, то это можно сделать в первом болоте.

– Я рассчитываю провести с вами три или четыре ночи, за что недурно вам заплачу.

– Что ж! – сказал Астарот после минутного размышления. – Выбирайте сами. По эту сторону гор я разыскал водопой; там найдутся козули, кабаны и козы. По ту сторону много медведей. Еще дальше, вокруг Чистых Озер, я находил бобров и лосей. Если вы легко устаете, лучше не забираться далеко, – дороги мало удобны.

– Возьмем хотя бы медведей.

– Как хотите.

– Сегодня?

– Да.

– Где? Потому что у меня еще нет ни лошади, ни ружья.

Астарот удивленно посмотрел на меня: ему, привыкшему иметь ружье и лошадь всегда, показался, наверное, странным человек, не позаботившийся своевременно обо всем нужном в пустыне.

– Тогда, – холодно сказал он, – я буду ждать вас у реки, в харчевне, на углу Набережной и Полевой улицы, но не более двух часов дня.

На этом мы и покончили. Астарот уехал, а я, оставшись один, дал комиссионеру несколько поручений, и в полдень у меня было все нужное для похода. Испытав лошадь, я нашел ее выносливой, послушной узде и быстрой; это был четырехлетний гнедой жеребец с белой гривой и нервными, прекрасными глазами; когда его поставили в стойло, он лизнул меня языком по уху, а я сунул руку в мягкую гриву. Поговорив таким образом, мы расстались и выехали в четверть второго. Я не взял с собой ничего, кроме зарядов, штуцера, мешка с провизией и теплого одеяла. Проехав несколько улиц, я мысленно оглянулся, сдержав лошадь. «Не повернуть ли назад?» – твердила усталая мысль... Еще не выполнив случайной затеи, я готов был поддаться скуке и удовлетвориться лишь мыслью, что при желании мне ничего не стоит продолжать путь; остальное дополнялось воображением. В состоянии этом была своеобразная прелесть сознанного и мучительного равнодушия; однако, уступая логике положения, власти вещей и нетерпеливому шагу лошади, я, махнув рукой, подобрал поводья и выехал к реке рысью, разыскивая Астарота.

V. Горный проход Вига

Когда я зашел в указанную Астаротом харчевню, он благосклонно посмотрел на меня, сидя за огромным столом с кружкой вина. Против него, обернувшись при моем появлении,

помещался невзрачный человек с застенчивым и скромным лицом, одетый почти так же, как Астарот, с той разницей, что вместо шапки с головы его свешивались концы туго обвязанного платка. Я подошел и сел к ним за стол.

– Ну, вот, – сказал товарищу Астарот, – видишь, он здесь! – Потом, указывая на застенчивого человека, объяснил мне: – Он, сударь, поедет с нами; его имя – Биг, это – один из отважнейших людей, но он скромен и молчалив.

– Уж ты... скажешь, – краснея, пробормотал Биг унылым голосом. – Вот, честное слово, не люблю я...

Шутливое выражение лица Астарота исчезло, и он, торопливо прикончив кружку, поднялся.

– Биг, нам до заката не успеть в горы, – сказал он. – Выйдем – и марш.

Через кухню мы прошли на маленький двор, где у коновязей фыркали и взмахивали хвостами нетерпеливые лошади. Маленькая кобыла Бига исподлобья, как человек, смотрела на своего хозяина. Поговорив о моей лошади и сдержанно похвалив ее, оба охотника простым движением рук очутились в седле, что, несколько медленнее, сделал и я; затем, выехав на солнечную улицу, мы, миновав мост, погрузились в береговые, с высокой травой, луга, направляясь к синему венцу гор, похожему издали на низкие облака.

Держась рядом с Астаротом, я наблюдал спутников. Они были погружены в свои мысли и неохотно отзывались на мои случайные замечания.

Черные глаза Астарота, прячась от солнца, съезжились и ушли внутрь, а Биг, рассеянно смотря по сторонам, иногда улыбался и подмигивал мне, как бы желая сказать: «Так-то. Едем». Проехав луг, мы направились далее берегом небольшой речки, причем несколько раз пересекали ее вброд; вода, шумя у ног лошадей, обдавала нас брызгами. Трава заметно редела, переходя в унылую, душную степную равнину, поросшую высохшим кустарником; все чаще попадались серые каменистые бугры, овраги и трещины; от них пахло сыростью и землей; одинокие деревья имели сторожевой вид; холмы, растягиваясь подножиями в сотни сажен, вынуждали нас при подъеме сдерживать лошадей. Из-под копыт, вспыхивая дымком, летела сухая, бурая пыль, а горы, прояняясь, становились пестрыми от хорошо различаемых теперь неровных пятен лесов, но казались почти также далекими, как от Зурбагана.

Следя за собой, я видел, что отдыхаю в седле душою и телом, как отдыхают от мучительной зубной боли, бегая по комнате. Вещей, о которых я мог бы последовательно и с интересом думать, у меня не было, но голую пустоту воображения и чувств успешно заполняли разные дорожные пустяки. Стремена Астарота, стертые от езды, заставляли меня машинально соотносить, сколько времени они ему служат; смотря на голову лошади, я думал, что мысли животных должны напоминать вечно ускользающий из клещей памяти сон. Камни напоминали мне о древности мира, а яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом земли, навеки осужденным без операции смотреть в лицо не понимающему его брату.

Так ехали мы час, и два, и три, и, наконец, унылая местность, достойная в сумрачный день служить вестибюлем ада, кончилась. Мы двигались в заросли, полной валежника, ям, пенных горных ключей и стволов, вырванных шквалом. Эти препятствия, живописные, но и надоедливые, заставляли коней идти шагом, и я не без удовольствия убедился в выносливости своей лошади.

– Лет восемь назад, – сказал мне Астарот, – нам не миновать бы потратить сутки на переход через горы. Самое удобное для этого место – шесть тысяч футов, где начинаются ледники. Но мы сделаем переход удачнее. Давно уже я и Биг прошли хребет этот, можно сказать, навывлет; мы теперь приближаемся к трещине, выходящей по ту сторону настоящим коридором; она попалась нам, конечно, случайно, но это не помешало мне окрестить ее именем Бига, потому что он первый сунулся в дыру. Я, понятно, ехал за ним, и мы, к нашему удивлению, благополучно перебрались, миновав утомительные высоты.

- Ты же сказал, что не мешало бы исследовать щель, – возразил Биг.
- Прекрасно, не будем спорить.

Он нагнулся, присматриваясь к скалистым хрящам, обросшим кустарниками, и у одного из них повернул вправо. Я увидел нечто вроде узкой долины, стиснутой известковыми выступами; здесь росла густая и сырая трава, но далее картина неожиданно изменялась: лес расступился, трава исчезла, и в темной волне холмов обнаружилось резкое углубление с зубцом голубого неба вверху, – это и был проход Бига, как назвал его Астарот. Здесь все остановились, и Биг стал советоваться с товарищем о месте привала. Поговорив, согласились они, что москиты не дадут спать в кустарнике и измучат лошадей; поэтому решено было пустить животных к ручью, а самим устроить привал в ущелье, а затем увести поевших лошадей к себе.

Астарот – впереди, за ним – Биг и я – сзади – углубились в расселину, оставив лошадей без привязи пастись у ручья; я был спокоен за свою лошадь, зная, что она не уйдет от других, прибегающих, как настоящие лошади бродяг, на первый зов или свист. Дно трещины, усеянное известковыми глыбами, слоями осыпавшегося сверху дерна, корнями и мокрое от выступившей кой-где подпочвенной воды, – было весьма неровно. В крутых, тесных изгибах стен, высоко над головой поросших почти скрывающим свет и небо кустарником, образовался воздушный ток, напоминающий мягкий ветер лесов; сырость, застоявшаяся тишина и вечные сумерки придавали этому месту характер мрачный и дикий, вполне отвечающий моему настроению. Но, – что служило для меня развлечением, – я начинал чувствовать голод; когда, пройдя сажен сто, спутники мои остановились на сухом месте – гряде земли – и стали, не теряя времени, собирать дерево для костра, я принялся им помогать со всем возможным усердием. Огонь, робко блеснув, разгорелся, наполняя ущелье низко оседающим дымом и красной игрой теней; в этом фантастическом освещении наши лица казались вымазанными алой краской и углем. Наш ужин был скромн, хотя съеден по-волчьи. Дневной свет, вяло, но внятно позволявший различать внутренность горной расселины, угас; несколько звезд смотрело сверху на густой мрак, окружавший костер. Астарот, как мне показалось, все время прислушивался, но, заметив, что я вопросительно смотрю на него, принимал свой обыкновенный вид, начиная говорить громче, чем нужно. Он рассказывал о холоде и выюгах на высоте гор, рыхлых оползнях ледников, прошлогодней экспедиции в поисках медных залежей и недавней охоте, где видел знаменитую волчиху о семи головах, про которую сложилось предание, что она носит в теле двадцать одну пулю и проживет до тех пор, пока не получит свинца прямо в сердце. У этого зверя, по словам охотника, не хватало сущих пустяков: первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой голов, а седьмая была налицо.

- Поэтому она и жива, – заметил Биг, – все стреляли по остальным, кроме седьмой.

– Да, – кратко сказал Астарот и прислушался к тишине и на этот раз так заметно, что Биг тревожно посмотрел на него. – Ты слышишь что-нибудь, Биг?

Биг закрыл глаза, наклонил голову, затем поднял ее; с минуту они рассматривали один другого, проверяя непонятное для меня – в себе.

Астарот, покачив головой, вытянул шею по направлению к дальнему концу ущелья, хмыкнул и приложил ухо к земле.

- Биг, – прошептал он, – вы подождите здесь, я схожу и скоро вернусь.

- Что случилось? – спросил я.

– Вероятно – обман слуха, – уклончиво, беря ружье, сказал Астарот, – но лучше мне прогуляться.

- Я не думаю, – заметил, привстав, Биг, – это почти невероятно.

Астарот пожал плечами:

- Вот мы увидим, – и он, шурша землей, исчез во тьме.

Биг стал рассеян. Как бы случайно вытаскивал он из костра одну головню за другой и тушил их, засовывая в золу. Не считая уместным праздное любопытство, я молчал. От пламен-

ного костра осталась кучка огненнозорких углей, скупое озарявших землю, складной ножик и бляхи седла, на котором я сидел, прислушиваясь к заунывному шелесту невидимой, над головами, листвы. Зная опытность людей, сопровождавших меня, я мог быть уверен, что без причины они не обнаружили бы беспокойства, и беспокойство это, в силу его законности, передано мне. Казалось, что очень слабо, похоже на звон в ушах, различаю я далекие и странные звуки, но стоило ослабить внимание, как эти смутные звуковые призраки переходили в потрескивание углей или шелест осыпающейся земли. Устав думать о загадках ущелья, я махнул рукой. Биг пристально посмотрел на меня.

– Вы не слышите? – тихо спросил он.

– Нет. А вы?

– Как будто бы – да!.. – Биг перебил себя: – Но это возвращается Астарот.

Осторожные, медленные шаги, в силу своеобразной акустики прохода, звучали со всех сторон, как будто к нам двигалась толпа. Я испытал неприятное, нервное ощущение, но, когда Астарот вырос у моего плеча во весь рост, эхо шагов умолкло.

– Костер, пожалуй, не помешает, – сказал он, присев на корточки и раздувая брошенную им поверх углей охапку древесного лома; он кивнул головой Бигу далеко не успокоительно, а тот почесал лоб. – Нельзя идти дальше, – заговорил Астарот; он сказал еще несколько слов, но тут, вспыхнув, заплоскали огненными языками дрова, и я с изумлением увидел новое, совсем переродившееся лицо Астарота. Он был ярко бледен, весел без улыбки и оживлен; веселье, поразившее самую глубину его зрачков, не было простым смехом глаз; в нем светилось столько безумной остроты, значительности и мысли, что я в первый момент отнес это на счет изменчивых колебаний пламени; однако не могло быть сомнений, что охотник испытывает нечто в сильнейшей степени. Он посмотрел на меня взглядом человека, рассматривающего горизонт поверх головы собеседника, и тотчас же отвернулся к Бигу.

– Я прошел, – начал он свой рассказ, – так далеко, что уткнулся руками в поворот и пополз. Через минуту я слышал шум, какой бывает, когда о крышу дробится проливной дождь. Шум переходил в голоса. Я не мог ничего расслышать, но там, должно быть, говорило или шепталось вполголоса много людей. Тогда я прополз дальше, пока не увидел своих рук. Это был свет. На камне сидел часовой, судя по форме – из волонтеров Фильбанка; он не видел меня и совал прикладом в горевший перед ним костер сучья, которых у стены я заметил большой запас. С меня было довольно, я отступил в тень и вернулся.

– Хорошо, – медленно сказал Биг, – подумаем обо всем этом. – Он закурил трубку. – Надо отдать справедливость Фильбанку: он знает, что делает. Утром Фильбанк будет хозяином в Зурбагане.

– Утром? – спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен.

Астарот не дал мне времени поправиться.

– Утром светло, – сказал он. – Ночью следует опасаться засады – если не в проходе, то при выходе из него; так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден, и Фильбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на Зурбаган и перебьет гарнизон.

– Нам надо вернуться, – сказал Биг. – Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фильбанку проход. Кого это, интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда?

Астарот пристально, как бы взвешивая и что-то рассчитывая, смотрел на Бига; оба они не обращали на меня никакого внимания. Но я и не претендовал на это; мне нравилось безответственное положение зрителя; давая же советы или пытаясь – вообще – проявить свое влияние, я этим принимал на себя известные обязательства, относительно которых, не зная пока, куда они могут клониться, решил быть в стороне.

– Мне пришла в голову одна мысль! – Астарот с живостью подошел ко мне. – Сударь, клянусь вам, что это дело чистое и возможное. Не думайте, что я сумасшедший; выслушайте.

Можно остановить Фильбанка. В полуверсте отсюда проход образует угол; стены круты и высоки; более чем пять человек не встанут там рядом. Невелика хитрость убить медведя, и это мы всегда успеем, но если вы не очень боитесь потерять жизнь – Фильбанк отступит. До рассвета, играя в четыре руки, мы поставим между собой и им земляной вал.

– Филь... – начал Биг, – их тысячи, Астарот, но мне такая затея нравится. – Он мечтательно улыбнулся: – Знаете, сударь, ружье и глаз Астарота? Вы должны тогда посмотреть на его работу.

Я понял, что это не шутка, и вздрогнул. Спокойствие Бига поразило меня. Он рассматривал замысел с точки зрения техники и работы, – чудовищную опасность затеи, разумеется, приходилось подразумевать. Предложение, интересное своей колоссальной дерзостью, заставило работать воображение с такой силой, что я восторженно вскрикнул.

– Хорошо, – сказал я, – мне нет причин отказываться, я с вами.

– Еще раз!

– Да!

– Еще раз!

– Да!

– О! – сказал Астарот, оставляя меня в покое. – Если так, Биг, то не будем терять времени! Скажи и дай знать в Зурбагане, но торопись; середина ночи, путь не близок и труден, патронов немного, оставь свой запас. Есть?

– Есть!

Биг, взвалив на плечо седло и ружье, с головней в руке бросился по направлению к выходу. Это было первым шагом, началом действия, после чего некогда было уже ни говорить, ни закреплять впечатления, и ожидание неизвестного вытеснило из моей головы все остальное.

– Спешите, – сказал Астарот, – возьмем по головне – и за дело!

VI. Фильбанк

Я видел, что имею дело с людьми решительными и отважными в такой степени, о которой мы, не будучи ими, едва ли можем составить себе ясное представление. Но это-то и увлекало меня. Я вспомнил Фильса и его друзей, проделывающих бесцельно головоломные вещи. Здесь, в деле, затеянном Астаротом, требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека, исключительная сосредоточенность мысли и осмотрительность. Следуя в потемках за Астаротом, я чувствовал, что проникаюсь глубоким интересом к дальнейшему; обыкновенная стычка, вероятно, не показалась бы мне столь привлекательной.

Идти было трудно и беспокойно. Спотыкаясь о камни, ямы, возвышения, трещины и холмы осыпей, мы шли так скоро, как позволяли условия, и остановились, когда Астарот сказал:

– Мы у поворота. Дальше идти не стоит: здесь наивыгоднейшее для нас место.

Головни, догорев, угасли; по звуку шагов я чувствовал, не видя охотника, что он кружится неподалеку, ощупывая руками стены. Как оказалось потом, он не был вполне уверен, что поворот здесь. Я явственно слышал его и свое дыхание, чего в обычное время не замечаешь, и дыхание это звучало убедительно, как рожок, играющий наступление. Астарот, нащупав меня, сказал, что надо зажечь костер. Долго, ползая на коленях, собирали мы ощупью хворост, гнилье, пни и все, что дождевые потоки годами обрушивали в проход; наконец покончив с этим, я чиркнул спичкой и поджег наваленную у стены груды.

Тогда, выбрав наиболее возвышенное у поворота место (чтобы облегчить труд), мы стали ворочать камни, вкатывая их на возвышение руками и колыями. Поворот уходил влево зубчатым гротом; расстояние между почти совершенно отвесными, с выступами и трещинами, стенами, в том месте, где мы начали кладку, равнялось шести шагам. Тягостное ощущение уси-

ливалось непроницаемым мраком, границы которого далее весьма скудного предела бессилён был раздвинуть огонь.

Охотник укладывал и носил камни не отдыхая, и я не отставал от него, заражаясь быстротой его движений. Первый ряд, шириною в шесть или семь футов, мы положили легко, второй был возведен уже медленнее; промежутки мы заполняли землей, разрыхляя ее топором Астарота и палками; чем далее, тем труднее становилась наша работа, и я не мог поднимать приблизительно на высоту груди некоторых камней; тогда мы взваливали их вместе, упираясь плечами. Усталости я не чувствовал, напротив – особое нетерпение торопливости подгоняло меня, и в этом было своеобразное упоение. Я двигался в страстном хороводе усилий, ускоряя темп их почти до головокружения; с наслаждением замечал я удобные камни и, взвалив их, шатаясь, в следующий ряд баррикады, спешил за новыми. Иногда, для того, чтобы подбросить в огонь дров, мы прекращали работу, – но уже, невольно оглядываясь, разыскивали глазами новый материал; в одну из таких минут охотник сказал:

– Довольно! Заграждение на высоте нашего роста. Устроим еще амбразуры и прекратим.

Это было действительно последнее, что нам оставалось сделать. Амбразуры мы соорудили из самых больших камней, а внизу, у подножия заграждения, устроили несколько грубых ступеней. Когда все было кончено, и поперек ущелья вырос настоящий тупик, – я сел, чувствуя слабость: устало колотилось сердце, с трудом разгибались руки. Меня клонило ко сну. Я сделал попытку встряхнуться, но ослабел еще более и, в состоянии полного изнурения, уронил голову на руки.

– Отдохните, я спать не буду, – сказал Астарот, и я, позабыв все, уснул. – Пора, – сказал, нагибаясь ко мне, Астарот. Я сознавал, что это говорит он, но тотчас уснул опять, и приснилось мне, что охотник спит, а я расталкиваю его, говоря: «Вставайте!» – Вставайте! – повторил Астарот, и я нервно вскочил.

Костер потух. Было еще темно, но вверх ясно обозначались на свежем небе силуэты обрыва. Внизу, присмотревшись, можно было различить, хотя с трудом, хаотическое дно прохода; ущелье напоминало разрыв гигантским плугом. Я тотчас припомнил все. Астарот, стоя у заграждения, раскладывал патроны, чтобы иметь их под рукой; у него был очень деловой вид.

Я подошел к нему, взяв ружье, но, видя, что он положил свое, – сделал то же.

– Через полчаса, а может быть, и меньше, – сказал охотник, – мы увидим врага. Встреча будет не из приятных, но шумная и – по-своему – оживленная.

Только теперь я обратил внимание на высоту баррикады, и высота эта показалась мне чрезмерной.

– Мы перестарались, Астарот, – заметил я, – можно было устроить тупик пониже.

– Нет!

– Почему?

– Вы недогадливы. Когда люди начнут падать от выстрелов, нужно, чтобы им было как можно более места в высоту. В противном случае они закроют собой цель.

– Астарот, – сказал я, – меня интересует нечто более важное. Почему вы, не солдат, даже не горожанин по привычкам и образу жизни, подвергаете себя немалому риску, выступая против Фильбанка?

– Да. Почему? – рассеянно ответил он. – Три часа тому назад я, пожалуй, не нашел бы, что вам ответить. Пока мы таскали камни, все выяснилось. Разве вы всегда знаете, почему делаете то или другое? Но я теперь знаю. Потому что это не совсем обыкновенное дело. Будет о чем вспомнить и рассказать. Я скоро начну сидеть, а что было у меня в жизни? Полдюжины мелких стычек и безопасные охоты? Нет, мне хотелось бы превратить в войну всю жизнь, и чтобы я был всегда один против всех. Увы, это невозможно. Всегда кто-нибудь скажет: «Вы поступили правильно, Астарот».

Он произнес это с оттенком спокойной грусти. И я понял, как безмерно жаден и горд этот полудикый человек, считающий несчастьем то, о чем мечтают и чего добиваются миллионы.

– Даже так?

– Именно так. Если бы я знал, что есть где-нибудь второй Астарот, полный двойник мой не только по наружности, но и по душе, я бы пришел к нему с предложением кинуть жребий – ему жить или мне? Мы подвергаемся теперь опасности; поэтому я желаю, чтобы вы узнали меня. Где-то, когда и где – не помню, имел один человек редкую книгу и был уверен, что ни у кого больше на всем земном шаре нет такой же второй книги. Но вот приходят к нему и говорят, что в соседнем городе, у богатого помещика, именно такой экземпляр лежит в хрустальной шкапулке. Тотчас же этот человек взял большую сумму денег и приехал к сопернику. Не говоря ему о своей книге, он купил за бешеную цену второй экземпляр и бросил его, на глазах бывшего владельца, в камин; огонь сделал свое дело. Итак, теперь вы поняли, почему я против Фильбанка? Потому, что Фильбанк не скажет: «Правильно, Астарот!»

С глубоким изумлением смотрел я на этого – воистину – загадочного человека. Он отвернулся, прислушиваясь, и положил мне на плечо руку.

– Фильбанк наступает, – сказал Астарот, – будем встречать гостей.

Небо прояснилось; раннее утро наполнило сумрачный проход унылым светом. Я слышал, закладывая патроны, глухой ропот шагов, позвякивание, шорохи, неопределенный протяжный шум и смутные голоса. Астарот, не отрываясь, смотрел через заграждение; настойчивый взгляд его как бы просил торопиться и не задерживать. Шум превратился в гул; отголоски, проникая эхом позади нас и по всему тревожно оживающему проходу, раздавались со всех сторон. Из-за поворота показались солдаты. Ничего не подозревая, они торопливо, держа ружья наперевес, высыпали на близкое от нас расстояние и с недоумением, а некоторые с испугом – остановились.

Астарот выстрелил, затем – я, целясь в ближайшего; тотчас же два человека, пятась и вскрикивая, упали назад, и то, что произошло далее, было поистине потрясающе даже для меня, готового ко всему. Проход загудел и взвыл, слабые вначале раскаты гула, полного воплей, крика, звона и угрожающего смятения, отраженные глухим эхом, усилились до громоподобного взрыва. Тысячи людей, стиснутые за поворотом узкими отвесами стен, бились в необычайном волнении. Солдаты, в которых стреляли мы, скрылись; но не прошло и минуты, как новый рой их, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Астарота.

Я был в состоянии никогда мною не испытанного головокружительного увлечения. Мои выстрелы, которые, сдерживаясь, я посылал весьма тщательно, не всегда достигали цели, но Астарот поступал толково. Я не помню в эти минуты ни одного с его стороны промаха. Он хлестал пулями, как бичом, и каждый выстрел его убивал, даже не ранил. Он был вне себя, но меток. Один за другим растягивались, взмахивая руками, солдаты, и в этой сосредоточенно-деловитой стрельбе было столько уверенности, что я невольно взглянул на рассыпанные у локтей Астарота патроны, считая их вместо солдат. В глубине поворота блестели, колыхаясь, штыки, но скоро их и лица солдат туманом окутал пороховой дым, и огонь выстрелов еще ярче заблестел в дыме, принимая красный оттенок. Пули, разбиваясь о камни звонкими, отрывистыми ударами или свистя над головой, напоминали о смерти, но в жестокой жуткости их я ловил звуки очарования и немного восторга перед лицом судьбы, подвергнутой столь гневному испытанию.

Прикрытый камнями, целясь в узкую меж ними, не шире трех пальцев, щель, я мог до времени считать себя в безопасности, но, опасаясь за ружье, могущее быть подбитым случайной пулей, выставлял дуло самым концом. Я целился и стрелял преимущественно в тех, чей прицел видел направленным на себя. Солдаты, постепенно отступая, стреляли теперь из-за угла поворота, подставляя охотнику для прицела лишь часть головы, – но он поражал их и в таком

положении, и именно – в голову. Они падали на свои ружья, а на их месте появлялись другие; я же, сберегая патроны, ждал нового открытого выступления. Вдруг Астарот, прицелившись, опустил ружье: ни людей, ни выстрелов не виделось больше в повороте, и перестрелка умолкла. Трупы, один на другом, лежали более чем внушительно.

– Слушайте, вы! – вскричал охотник. – Слушайте! Скажите Фильбанку, что он не пройдет здесь. Я не один; нас двое, и мы устроим вам очень тесную покойницкую! Уходите!

Никто не ответил ему, но и я и он знали, что те, к кому были обращены эти слова, – слышат.

– Вас двое? – неожиданно сказал, появляясь в глубине поворота человек с белым платком в руке; он махнул им несколько раз и подошел ближе. Он был без ружья и всякого другого оружия; как бы вспухшие глаза его на мясистой бледной коже, лишенной растительности, тонкий, словно запечатанный, рот – были презрительны; он смотрел, прищурившись, и медленно улыбнулся. – Вас двое? Каждого из этих двоих я повешу за ноги; я возьму вас живьем. Я – Фильбанк.

– Разбойник, – сказал Астарот, – если бы не белый платок, я перевязал бы тебе голову красным.

– Бродяга, – ответил, темнея, Фильбанк. – Мундир, который ты видишь на мне, обязывает меня сдерживать слово. Долой из этого курятника! Беги!

– Повелитель, – насмешливо возразил охотник, – почему вам хочется идти в эту сторону? Ступайте обратно, там вам не помешает никто. Пока вы идете вперед – сила на нашей стороне, но, разумеется, никакими усилиями не удалось бы нам задержать вас, если вы вздумаете отступить; самое большее, что мы схватим за шиворот двух.

– Хорошо, – сказал Фильбанк. – Помни! – И он скрылся.

– Это – атака, – сказал, хватая меня за руку, Астарот. – Но нам, может быть, не хватит зарядов. Биг не возвращается. Вы готовы?

– Вполне.

Высокий торопливый рожок заиграл в невидимом повороте и смолк. Тогда я увидел, что может сделать один человек, вполне владеющий искусством стрельбы. Толпа, выбежавшая на нас, расступилась, давая упасть мертвым; их было не меньше шести; шесть пуль вылетело из ружья Астарота скорее, чем я прицелился в одного. И так же, как и в первый раз, испуганные солдаты остановились, но охотник еще раз повторил ужасную операцию – и я увидел множество падающих, как пьяные, обезумевших людей; хватаясь друг за друга, вскрикивали они и умирали на наших глазах в то время, как уцелевшие растерянно смотрели на них. «Попробуйте окопаться!» – крикнул охотник. Некоторые повернулись и побежали. Здесь я убедился в преимуществе магазинных ружей перед однозарядными; у меня же и Астарота были именно магазинки – Шарпа и Консидье. Шарповские значительно легче, но Консидье для меня был удобнее по устройству прицела, благодаря которому менее опытный стрелок может быть и не вполне точен, зато быстрее ловит, с небольшою ошибкою, мушку.

Воспользовавшись замешательством наступающих, я решил истратить несколько патронов подряд, – для впечатления. Из них только один пропал даром. Не знаю, что подумал об этом охотник, но я не претендовал равняться с ним в точности. Вероятно, он не заметил этого. Губительная работа захватила его. Волонтеры стреляли залпами, стараясь держаться дальше и не толпой; некоторые, срываясь, подбегали почти вплотную и не возвращались назад, и я вспомнил слова охотника о высоте заграждения. Иногда, сбитые пулей, каменные брызги хлестали меня в лицо; я вытирал кровь и стрелял снова, торопясь предупредить каждого целившегося в меня.

– Двадцать пуль я могу уделить им, – сказал охотник, – двадцать первая для меня. Приберегите и себе, – прибавил он, помолчав, – а то ведь Фильбанк сказал правду.

Слова его не испугали и не взволновали меня. Я мало надеялся на благополучный исход и, сообразив, что могу выстрелить, без риска остаться живым, еще десять раз, всадил первую из десяти в голову толстого волонтера, только что высунувшегося ползком из-за угла поворота. Солдат дернулся и упал.

– О Биг, Биг! – вскричал Астарот, хватаясь за раненое ухо. – Скоро я не буду ни слышать, ни видеть, ни стрелять, но ты увидишь, Биг, что не зря оставил заряды! Ведь это трупы!

И он, уже не оберегая себя, вскочил на верхнюю ступень заграждения, показывая мне рукой грудь, за которой, как за прикрытием, торчали вспыхивающие молниями штуцера. Спрыгнув, Астарот рассмеялся.

– Довольно! – сказал он. – Дело, как мы умели и могли, сделано. Не пора ли? Нет. Вы слышите? Это – Биг и солдаты!

Я оглянулся. Из-за бугров, маленькие на отдалении, торопливо выскакивали, подбегая к нам, вооруженные люди, и я от всего сердца мысленно поздравил их с продолжением удачного дела.

VII. Возвращение

Меня вытеснила толпа солдат, и я очутился у стены, шагах в десяти от заграждения, вместе с охотником. К нам подошел Биг.

– Правильно, Астарот! – сказал он, задыхаясь от изнурительного бега в проходе.

Лицо Астарота, блиставшее перед тем упоением торжества, разом погасло, осунулось, и тень ровной грусти мгновенно изменила выражение глаз, замкнуто, чуждо раскатам свалки смотревших на живую запруду, истребительную возню.

– Я сделал это для себя, – сказал Астарот, подумав, – и более мне делать здесь нечего. Уйдем, Биг. Не следует дожидаться конца.

– Да, – подтвердил Биг, – через полчаса здесь будут орудия.

– Тем лучше. Ты останешься?

– Нет, – это дело сделают без меня.

Усталые, изредка оглядываясь на трескучий дым, мы выбрались из прохода. Неподалеку валялись, играя, лошади. Оседлав их, мы тронулись к югу; затем Биг нагнал ехавшего впереди Астарота, и они, тихо разговаривая о происшествиях дня, шагом погрузились в заросль на склоне горы, а я, следуя за ними, спрашивал себя: точно ли произошло все, в чем был я свидетелем и участником? Я грустил о том, что так скоро кончились пленительный бой и тревога, и тьма ночи, и зловещее утро у заграждения; но ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей. Я пережил страстное увлечение и был счастлив, но не желал просто драться, так же, как Астарот.

Прекрасный день заливал горы живым водопадом солнца, тающего в тесных изгибах чащи крупным дождем золотых пятен, озаренных листьев и отвесных лучей; цветы вздрагивали под копытами, обрызгивая росой траву, а спутанные корни тропинок вились по всем направлениям, уходя в цветущую жимолость, акацию и орешник. Тогда, пристально осматриваясь кругом, я заметил, что наблюдаю, в особом и новом отношении к ним, все явления, которые раньше были мне безразличны. Явления эти неперечислимы, как сокровища мира, и главные из них были: свет, движение, воздух, расстояние и цель движения. Я ехал, но хотел ехать; двигался, но во имя прибытия; смотрел, но смотреть было приятно.

Я освобождался от тяжести. Медленно, но безостановочно, как подымаемый домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть, и я, боясь ее возвращения, с трепетом следил за собой, ожидая внезапного тоскливого вихря, приступа смертельной тоски. Но происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыто стучит звонко и крепко, что ветви трещат упруго,

что птица кричит чистым, задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег, что камень дал о подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сижу, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод; я был голоден и хотел спать. И все, что я слышал, видел, знал и чувствовал, – было так, как оно есть: непоколебимо, нужно и хорошо.

Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны: увлечения, пренебрегающего даже смертью, и она вернулась ко мне юная, как всегда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент; я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь.

Невольно, глядя на ехавших впереди ловких и бесстрашных людей, припомнились мне звучавшие раньше безразлично строки Берганца, нищего поэта, умершего из гордости голодной смертью в мансарде, потому что он не хотел просить ни у кого помощи; и я мысленно повторил его строки:

У скалы, где камни мылит водопад, послав врагу
Выстрел, раненный навывлет, я упал на берегу,
Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел,
Палец мой лежит на спуске; точно выверен прицел.
И умолк лиса-убийца; воровских его шагов
Я не слышу в знойной чаще водопадных берегов.

Лживый час настал голодным: в тишине вечерней мглы
Над моим лицом холодным грозно плавают орлы,
Но клевать родную падаль не дано своим своим,
И погибшему не надо ль встать на хищный возглас их?
Я встаю... встаю! – но больно сесть в высокое седло.
Я сажусь, но мне невольно сердце болью обожгло,
Каждый, жизнь целуя в губы, должен должное платить,
И без жалоб, стиснув зубы, молча, твердо уходить.
Нет возлюбленной опасней, разоряющей дотла,
Но ее лица прекрасней клюв безумного орла.

Вспомнив это, я вспомнил и самого Берганца. Он любил смотреть из окна седьмого этажа, где жил, на розовые и синие крыши города и простаивал у окна часами, наблюдая, без изнурительной зависти, с куском хлеба в руке певучее уличное движение, полное ярких соблазнов.

В полдень я простился с охотниками. Они уговаривали меня остаться с ними ради охоты, но я был утомлен, взволнован и, поблагодарив их, остался один с своими новыми мыслями. Только к вечеру я попал в Зурбаган и бросился, не раздеваясь, в постель. Не каждому удается испытать то, что испытал я в проходе Бига, но это было, и это – судьба души.

Капитан Дюк

I

Рано утром в маленьком огороде, прилегавшем к одному из домиков общины Голубых Братьев, среди зацветающего картофеля, посаженного правильными кустами, появился человек лет сорока, в вязаной безрукавке, морских суконных штанах и трубообразной черной шляпе. В огромном кулаке человека блестела железная лопатка. Подняв глаза к небу и с полным сокрушением сердца, пробормотав утреннюю молитву, человек принялся ковырять лопаткой вокруг картофельных кустиков, разрыхляя землю. Неумело, но одушевленно тыкая непригодным для него орудием в самые корни картофеля, от чего невидимо крошились под землей на мелкие куски молодые, охаживаемые клубни, человек этот, решив наконец, что для спасения души сделано на сегодня довольно, присел к ограде, заросшей жимолостью и шиповником, и по привычке сунул руку в карман за трубкой. Но, вспомнив, что еще третьего дня трубка сломана им самим, табак рассыпан и дана торжественная клятва избегать всяческих мирских соблазнов, омрачающих душу, – человек с лопаткой горько и укоризненно усмехнулся.

– Так, так, Дюк, – сказал он себе, – далеко тебе еще до просветления, если, не успев хорошенько продрать глаза, тянешься уже к дьявольскому растению. Нет – изнуряйся, постись и смирись, и не смей тебе даже вспоминать, например, о мясе. Однако страшно хочется есть. Кок... гм... хорошо делал соус к котле... – Дюк яростно ткнул лопаткой в землю. – Животная пища греховна, и я чувствую себя теперь значительно лучше, питаюсь вегетарианской кухней. Да! Вот идет старший брат Варнава.

Из-за дома вышел высокий, сухопарый человек с очками на утином носу, прямыми, падающими на воротник рыжими волосами, бритый, как актер, сутулый и длинноногий. Его шляпа была такого же фасона, как у Дюка, с той разницей, что сбоку тульи блестело нечто вроде голубого плюмажа. Варнава носил черный, наглухо застегнутый сюртук, башмаки с толстыми подошвами и черные брюки. Увидев стоящего с лопатой Дюка, он издала закивал головой, поднял глаза к небу и изобразил ладонями, сложенными вместе, радостное умиление.

– Радуюсь и торжествую! – закричал Варнава пронзительным голосом. – Свет утра приветствует тебя, дорогой брат, за угодным богу трудом. Ибо сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой».

– Много камней, – пробормотал Дюк, протягивая свою увесистую клешню навстречу узким, извилистым пальцам Варнавы. – Я тут немножко работал, как вы советовали делать мне каждое утро для очищения помыслов.

– И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки божьей благодати несомненно вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховность земных желаний. Как ты провел ночь? Смутился твой дух? Садись и поговорим, брат Дюк.

Варнава, расправив кончиками пальцев полы сюртука, осторожно присел на траву. Дюк грузно сел рядом на муравейник. Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, умеющие, когда надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый нос, изгрызенные с вечно похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение подбородка.

– Что говорить, – печально объяснял Дюк, постукивая лопаткой. – Я, надо полагать, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось курить и... знаете, это... когда табаку нет, столько слюны во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом наконец уснул. И снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? – около пролива Кассет, а там, если вы знаете, такие рифы, что бездельника, собственно говоря,

мало было бы повесить, но так как он глуп, то я только треснул его по башке линьком. Но этот мерзавец...

– Брат Дюк! – укоризненно вздохнул Варнава. – Кха! Кха!..

Капитан скис и поспешно схватился рукой за рот.

– Еще «Марианну» вспомнил утром, – тихо прошептал он. – Мысленно перецеловал ее всю от рывов до клотиков. Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл переменить кливер, то прости – я загулял с маклером. Не раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не смей тебе сниться мне! Теперь только я понял, что спасенье души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоками... да. Извините меня, брат Варнава.

Выплавав это вслух, с немного, может быть, смешной, но искренней скорбью, капитан Дюк вытащил полосатый платок и громко, решительно высморкался. Варнава положил руку на плечо Дюка.

– Брат мой! – сказал он проникновенно. – Отрешишь от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь! Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих бога, бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества; земные плоды, орошенные потом благочестивых... Над головой – ясное небо, где плывут небесные корабли – облака, и тихий ветерок обвеивает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. «Марианна» же твоя – символ корысти, зависти, бурь, опьянения и курения, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о, брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чтобы он не смущал твою близкую к спасению душу, а деньги положить на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную и духовную пользу?

Дюк жалобно улыбнулся.

– Хорошо, – сказал он через силу. – Пропадай все. Продать, так продать!

Варнава с достоинством встал, снисходительно поглядывая на капитана.

– Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, другие ждут моего внимания.

II

В десять часов утра, произведя еще ряд опустошений в картофельном огороде, Дюк удалился к себе, в маленький деревянный дом, одну половину которого – обширную пустую комнату с нарочито грубой деревянной мебелью Варнава предоставил ему, а в другой продолжал жить сам. Община Голубых Братьев была довольно большой деревней, с порядочным количеством земли и леса. Члены ее жили различно: холостые – группами, женатые – обособленно. Капитан, по мнению Варнавы, как испытуемый, должен был провести срок искуса изолированно; этому помогало еще то, что у Дюка существовали деньжонки, а деньжонки везде требуют некоторого комфорта.

Подслеповатый, корявый парень появился в дверях, таща с половины Варнавы завтрак Дюку: кружку молока и кусок хлеба. Смирненно скрестив на груди руки, парень удалился, гримасничая и пятясь задом, а капитан, сердито понюхав молоко, мрачно покосился на хлеб. Пища эта была ему не по вкусу; однако, твердо решившись уйти от грешного мира, капитан наскоро проглотил завтрак и раскрыл Библию. Прежде чем приняться за чтение, капитан стыдливо помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским луком, какие умел божественно делать кок Сигби. Еще вспомнилась ему синяя стеклянная стопка, которую Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя для большей вкусности рукою по животу и крикнув, медленно осушал. «Какова сила врага рода человеческого!» – подумал Дюк, явственно ощутив во рту призрак крепкого табачного дыма. Покрутив головой, чтобы не

думать о запретных вещах, капитан открыл Библию на том месте, где описывается убийство Авеля, прочел, крепко сжал губы и с недоумением остановился, задумавшись.

«Авель ходил без ножа, это ясно, – размышлял он, – иначе мог бы ударить Каина головой в живот, сшибить и всадить ему нож в бок. Странно также, что Каина не повесили. В общем – неприятная история». Он перевернул полкниги и попал на описание бегства Авессалома. То, что человек запутался волосами в ветвях дерева, сначала рассмешило, а затем рассердило его. – Чиркнул бы ножиком по волосам, – сказал Дюк, – и мог бы удрать. Станный чудак! – Но зато очень понравилось ему поведение Ноя. – Сыновья-то были телята, а старик молодец, – заключил он и тут же понял, что впал в грех, и грустно подпер голову рукой, смотря в окно, за которым вилась лента проезжей дороги. В это время из-за подоконника вынырнуло чье-то смутно знакомое Дюку испуганное лицо и спряталось.

– Кой черт там глазеет? – закричал капитан.

Он подбежал к окну и, перегнувшись, заглянул вниз.

В крапиве, присев на корточки, притаились двое, подымая вверх умоляющие глаза: повар Сигби и матрос Фук. Повар держал меж колен изрядный узелок с чем-то таинственным; Фук же, грустно подперев подбородок ладонями, плачевно смотрел на Дюка. Оба сильно вспотевшие, пыльные с головы до ног, пришли, по-видимому, пешком.

– Это что такое?! – вскричал капитан. – Откуда вы? Что расселись? Встать!

Фук и Сигби мгновенно вытянулись перед окном, сдернув шапки.

– Сигби. – заволновался капитан, – я же сказал, чтобы меня больше не беспокоили. Я оставил вам письмо, вы читали его?

– Да, капитан.

– Все прочли?

– Все, капитан.

– Сколько раз читали?

– Двадцать два раза, капитан, да еще двадцати третий для экипажа «Морского змея»; они пришли в гости послушать.

– Поняли вы это письмо?

– Нет, капитан.

Сигби вздохнул, а Фук вытер замигавшие глаза рукавом блузы.

– Как не поняли? – загремел Дюк. – Вы непроходимые болваны, гнилые буйки, бродяги, – где это письмо? Сказано там или нет, что я желаю спастись?

– Сказано, капитан.

– Ну?

Сигби вытащил из кармана листок и стал читать вслух, выронив загремевший узелок в крапиву.

«Отныне и во веки веков аминь. Жил я, братцы, плохо и, страшно подумать, был настоящим язычником. Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас стянул новый брезент. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок брата Варнавы для очищения духа. Прощайте. Сидите на “Марианне” и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше».

Капитан самодовольно улыбнулся – письмо это, составленное с большим трудом, он считал прекрасным образцом красноречивой убедительности.

– Да, – сказал Дюк, вздыхая, – да, возлюбленные братья мои, я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Что это бренчит у тебя в узелке, Сигби?

– Для вас это мы захватили, – испуганно прошептал Сигби, – это, капитан... холодный грог, капитан, и... кружка... значит.

– Я вижу, что вы желаете моей гибели, – горько заявил Дюк, – но скорее я вобью вам этот грог в пасть, чем выпью. Так вот: я вышел из трактира, сел на тумбочку и заплакал, сам не знаю зачем. И держал я в руке, сколько не помню, золота. И просыпал. Вот подходит святой человек и стал много говорить. Мое сердце растаяло от его слов, я решил раскаться и поехать сюда. Отчего вы не вошли в дверь, черти полосатые?

– Прячут вас, капитан, – сказал долговязый Фук, – все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот с бантом на шляпе, которого видел кое – кто с вами третьего дня вечером. Он-то и прогнал нас. Безутешно мы колесили тут, вокруг деревни, а Сигби вас в окошко заметил.

– Нет, все кончено, – хмуро заявил Дюк, – я не ваш, вы не мои.

Фук зарыдал, Сигби громко засопел и надулся. Капитан начал щипать усы, нервно мигая.

– Ну, что на «Марианне»? – отрывисто спросил он.

– Напились все с горя, – сморкаясь, произнес Фук, – третий день пьют, сундуки пропили. Маклер был, выгодный фрахт у него для вас – скоропортящиеся фрукты; ругается, на чем свет стоит. Куркуль удрал совсем, а Бенц спит на вашей койке в вашей каюте и говорит, что вы не капитан, а собака.

– Как – собака! – сказал Дюк, бледнея от ярости. – Как – собака? – повторил он, высываясь из окна к струсившим матросам. – Если я собака, то кто Бенц? А? Кто, спрашиваю я вас? А? Швабра он, последняя шваб-р-ра! Вот как?! Стоило мне уйти, и у вас через два дня чешутся обо мне языки? А может быть, и руки? Сигби, и ты, Фук, – убирайтесь вон! Захватите ваш дьявольский узелок. Не искушайте меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.